



Алексей Ивин

ПОСОБИЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ

роман

Алексей Ивин

Пособие для умалишенных. Роман

«Издательские решения»

Ивин А. Н.

Пособие для умалишенных. Роман / А. Н. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903534-9

Роман в трех частях русского прозаика Алексея Ивина «Пособие для умалишенных» — семейно-бытовая, психологическая драма с элементами мистики, магического реализма и клинической медицины. Как оказалось, в те годы перестраивалась не только государственная машина, но и отдельный человек. Тяготы, страдания, болезни способны не только погубить, но и — в иных случаях — возродить и укрепить человека.

ISBN 978-5-44-903534-9

© Ивин А. Н.
© Издательские решения

Содержание

ПОСОБИЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ	6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРЫША ПОЕХАЛА	8
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Пособие для умалишенных Роман

Алексей Николаевич Ивин

© Алексей Николаевич Ивин, 2018

ISBN 978-5-4490-3534-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

©, Алексей ИВИН, автор, 1989, 2009 гг.

©, 1 часть, журнал «Наша улица», 2003 г

**ПОСОБИЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ
или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ, РЕЛИГИИ,
НРАВСТВЕННОСТИ, КОНЦЕ СВЕТА
И ПРОЧИХ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ВЕЩАХ,
ПОЧЕРПНУТЫЕ В ОПЫТЕ БОРЬБЫ
ЗА ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА
ВИТАЛИЕМ СУХОНИНЫМ, ШИЗОФРЕНИКОМ**

*В этой убогой и нищей стране каждый живет для другого
и расценивает его как свою принадлежность, потому что иного
имущества у него нет.*

Жозеф де Местр, Записки путешественника по России



Ya es hora.

Франсиско Гойя, «Я – Гойя»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КРЫША ПОЕХАЛА

В конце декабря Виталий Сухонин занемог; немощь его была не физическая, а душевная. Он стал раздражителен и мучился бессонницей, а тут еще эти собаки. Под окнами дома, где он жил, простирался огороженный заводской пустырь, на котором по ночам резвилась стая одичавших собак. Они скулили, выли на луну, кружили среди сваленных в беспорядке бетонных плит, лаяли. Сухонин, сидя на кухне возле холодной плиты, пил остывший чай с шоколадными конфетами и терпеливо внимал собачьему лаю; его удивляло, почему никто из жильцов не реагирует на это безобразие, но было похоже, что во всем доме бодрствует по ночам он один, а остальные, натрудившись, спят. Наконец, донельзя взбешенный, он одевался, через пролом пробирался на пустырь и прогонял собак, бросая в них чем попало. Впрочем, толку от этого не было, потому что через полчаса собаки снова собирались, и возобновлялся прежний шабаш. Сухонин, истощив терпение, разослал письменные жалобы в газету, в райисполком и санэпидстанцию и вскоре получил лаконичное извещение, что его сигнал подтвердился и собаки выловлены. Он ощутил минутное злорадное удовлетворение, но его бессонница не прекратилась, и самочувствие не улучшилось, потому что не в бродячих собаках было дело, а в том, что он переутомился, надсадился и занервничал.

На Новый год жена Сухонина, Марина, с дочерью Инессой уехали в тверскую деревню Васюково к теще. Сухонин проводил их до вокзала и поздним вечером, довольный, что остается один, вернулся домой: уединяться он любил. В опустелой квартире царила тишина; из крана в раковину капала вода, и занавеска медленно колыхалась от ветра, задувавшего в форточку. Сухонин остановился на пороге, прислонился к косяку и долго слушал бездомную тишину. Ему вдруг стало не по себе. Странно, что, провожая жену, он так втайне радовался грядущему одиночеству и предвкушал его, а теперь, добившись своего, затосковал. Покой и отдохновение были нужны ему для какого-то светлого деяния, для созерцательного самоанализа, – он устал, видит бог, устал, ему необходимо сосредоточиться на себе и кое-что обмозговать, – но оказывалось, что, пока в квартире находились надоедливые близкие люди, пока они мыли посуду и наряжали кукол, пока суетились и ссорились, здесь хозяйничала пусть и не очень осмысленная, но все-таки жизнь, а теперь здесь воцарилось безызычное молчание. Что-то беспокоило Сухонина. Он потуже завернул кран, чтобы вода перестала сочиться, захлопнул форточку, взглянул на ночной пустырь и желтые окна окрестных домов; потом достал проигрыватель и поставил пластинку, свою любимую, – «Учение чародея» Дюка. Звуки заполнили квартиру. Сухонин закрыл глаза и представил, как нечисть, вызванная неопытным подмастерьем, то реет в воздухе, подобно снежному бурану, то наступает стройным порядком на обезумевшего чародея – жертву собственного искусства. Пока звучала музыка, он безропотно отдавался ее власти, но вот она смолка – и он снова почувствовал всю тяжесть тишины. Тишина тем более угнетала, что он понимал: он затем и спровадил жену, чтобы побыть одному, написать, пока есть время, прекрасную музыку, прекрасную картину, прекрасное стихотворение. Что-нибудь в этом роде. Он соразмерял себя, соревновался с прославленными мужами, в какой бы области искусства они ни подвизались; ему, однако, упорно не везло: он работал корректором в технической редакции, посреди рутин, скуки, мелочных дрызг интересов; он исчерпал до дна запасы мимикрических способностей, но не нашел достаточного удовлетворительного контакта с окружением: носил воду в решете, вместо того чтобы передвигать горы. Это последнее занятие было ему больше по душе. Завистливая ревность к предшественникам и постоянная неудовлетворенность собой, таким ничемным и бездарным, разъедала душу. С каждым днем утрачивая дееспособность, в озлоблении бессрочно заключенного узника, он решил, что ему мешают развернуться, осуществиться согласно предначертанию. И дошло

до того, что это предначертание он возненавидел, как позорное клеймо. К тому же, он начал понимать диспропорцию между ценностью, им самим на себя принятой, и действительной и устал доказывать людям, что он талантлив. Формировался комплекс неудачника.

Вот и на этот раз, вместо того чтобы сесть за стол и попытаться выиграть соревнование если уж не с Бетховеном, то хотя бы с Дюка, и усладить далеких потомков волшебной музыкой, он, тяготясь бездельем, решил зайти к соседу.

Сосед был человек своеобразный и в своем роде замечательный – седеющий пятидесятипятилетний красавец-мужчина, цыган. У него было два взрослых сына – ровесники Сухонина – от первого брака и два малолетних пацана – от третьего, однако ни с одной из трех жен он не жил, а жил со старухой цыганкой, очень худой и вечно простоволосой, которая, как сказывали соседи по лестничной площадке, матерью ему не была, но вскормила и воспитала как сына. Она, бывало, часто выходила на лестницу, садилась на ступеньку и закуривала папиросу; и еще – всегда у нее что-то не ладилось с дверным замком, так что Сухонин в числе прочих жильцов не раз помогал ей отпирать дверь.

Хотя время было позднее, Андрей Петрович Гренадеров не спал – полуночичал: за стеной слышался звон гитары и смех. Хозяин обрадовался позднему гостю и предложил коньяка. Андрей Петрович жил не то чтобы на широкую ногу, но не по средствам, деньги у него водились, хотя неизвестно было, где он их брал: работать он не работал и через это имел крупные неприятности с милицией; каким-то образом он исхлопотал себе третью группу инвалидности и крепко на том стоял. Любимым его героем был Наполеон; кстати и некстати Андрей Петрович ссылался на Наполеона и любил соизмерять свои поступки с деяниями означенного героя. Вторым, после Наполеона, предметом, занимавшим его, были женщины. Прежде чем осесть по соседству с Сухониным, он прошел от Благовещенска до румынских границ и много на своем веку повидал, однако старческой мудрости или благоразумия не накопил; напротив, чем чаще становился, тем жаднее волочился за женщинами, которые подчас годились ему в дочери, тем размахистее, по-максималистски судил и рядил обо всем: с годами в нем накапливалась прокурорская бескомпромиссность, и ему казалось, что все живут не так, как следует. Сухонина он называл стариком и домоседом и при любом удобном случае подбивал на авантюры; он красноречиво рисовал перед ним перспективы богемной, бесшабашной жизни, учил, что жизнь необходимо препровождать в удовольствиях и утехах. Сухонин слушал да поддакивал, но в себе авантюристских склонностей не обнаруживал и к удовлетворению Марины отвергал все заманчивые предложения. В первое время Андрей Петрович еще бывал у Сухонина, но, стремясь оградить мужа от дурного влияния и сохранить целостность семейного очага, Марина мало-помалу отучила его. «Не ходи к нему, это плохой человек, – говорила она Сухонину. – Не известно, на какие шиши он живет и в каких махинациях замешан». На сей раз предостеречь его от опрометчивых соблазнов было некому, и Сухонин с удовольствием потягивал коньяк и слушал лирическое пение под гитару. Его в последнее время точила мысль, что он и впрямь скучновато живет, пресно, деля свою жизнь меду работой и семьей; тяготясь своей персоной, он рад был причаститься к чужой жизни: пялился на Наташу, худенькую остролицую женщину, внимал песенкам из приклатненного репертуара Андрея Петровича, смаковал коньяк, и уходить ему не хотелось. Какая-никакая, но это была разрядка. В то же время он понимал, что пора уходить, уже поздно; и как его ни упрашивали остаться, он сделикатничал и ушел, – такой уж был человек: одиночество было для него невыносимо, но и общества он в последнее время чуждался. Ему все казалось, и не без основания, что людям с ним тяжело, что своим угрюмством и постной физиономией он вносит расстройство в веселую компанию.

– Заходите, Виталий. Заходите, мы вам всегда рады, – сказал хлебосольный Андрей Петрович, запахивая халат на волосатой груди.

Возвратившись в свою одинокую квартиру. Сухонин ощутил прежнее: тоску и бессоницу. Голова была ясна, и мысль работала четко, но приложения не находила. Он слонялся по комнате, как неприкаянный, пока не вспомнил о порнографических снимках, подаренных накануне Гренадеровым. Марина недаром беспокоилась, что Гренадеров дурно на него влияет! Впрочем, дурно повлиять можно только на человека, предрасположенного к восприятию всякой заразы. Сухонин был из таких. Чтобы Марина не обнаружила эти снимки, он засунул их под диван, на котором спал. И теперь о них вспомнил. Очень кстати вспомнил, ибо рядом не было никого, кто мог бы увидеть его, испортить тихую минутку. Современный, сексуально раскованный человек, с внутренней гнильцой. Женатый. Разумеется, со своими похотями он боролся, тяжело мучился и нравственно распекал себя, но безуспешно: тянуло, затягивало...

Он вынул снимки и долго их разглядывал, – нашел-таки, наконец, занятие, приложение своим силам. Но мало-помалу на душе сделалось неуютно, противно до тошноты: снимки были мерзкие. Никакой эстетики, одна гадость! И ведь гадость-то какая-то прилипчивая, заманчивая...

Сухонин снова засунул снимки под диван и огляделся. Его взгляд остановился на телефоне. И тут в голову пришла нелепая мысль. Он отыскал телефонный справочник и набрал номер психиатрической службы. «Наверно я болен, – подумал он. – Хоть проконсультируюсь». Он и прежде посещал одного за другим всех врачей поликлиники, подозревая у себя то гипертонию, то рак; обращался и к невропатологу, однако тот отнесся к его жалобам более чем сдержанно: «Займитесь делом, молодой человек, и все ваши симптомы как рукой снимет. Очень уж вы прислушиваетесь к своему организму», – сказал невропатолог. А ему хотелось, чтобы его выслушали, пожалели, прописали микстуру, озаботились его заботами; но нянчиться с ним никто не желал, у всех хватало собственных треволений...

– Слушаю, – отозвалась девушка на том конце провода.

– Мне не спится, уже третью ночь, – солгал он. – Не могли бы вы приехать?

– Вы состоите на учете?

– Нет, какой там учет. Просто не спится.

– Адрес?

Он назвал адрес.

– Ждите, – был ответ.

Он в волнении стал прохаживаться по комнате, смотрел в окно, не подруливает ли машина скорой помощи. Дать пришлось недолго. Уже через пять минут в дверь позвонили, он открыл и увидел рыжего бородатого широкоплечего врача в белом халате и двух сестер с ним.

– Вы больной? – Они смотрели пытливо и по-особенному. Он хотел было запротестовать, что он вовсе не псих, но они уже прошли в комнату и на журнальном столике раскрыли походную аптечку. – Давно это с вами?

– Давно, – сказал он неуверенно.

– Раздевайтесь.

Он покорно лег на диван. Врач с закатанными рукавами, обнажившими большие волосатые руки, со значительной миной на лице сделал укол.

– Теперь раздевайтесь и ложитесь. Уснете, – сказал он, складывая аптечку. Сухонину показалось, что девушки при этом хихикнули и переглянулись.

– Вы меня извините, что беспокоил... – начал он. Ему и впрямь стало совестно, что он тревожит людей по пустякам, в то время как где-нибудь страждут настоящие больные. Он был признателен врачам и вместе с тем хотел, чтобы они поскорее ушли: он вымолил, выклянчил немножко соучастия и теперь заснет успокоенный. В этом соучастии, в этом внимании он постоянно нуждался.

Разделся, поставил у изголовья торшер, лег и принялся было снова разглядывать свою порнографию, но внезапно навалилась сонная одурь, голова закружилась и все поплыло перед глазами; он словно провалился в темную яму.

Не известно, сколько времени он проспал, может быть, час, а может быть, одну минуту, – только вдруг проснулся от строго страха у м е р е т ь в о с н е. Это был доселе неведомый, панический страх. Страх и раскаяние. Как при блеске молнии, вдруг стала очевидна вся мерзость, вся преступность прежней жизни, и он искренне, горячо, так что бросило в жар, и брызнули слезы из глаз, иступленно, беспорядочно, но из самой укромной глубины своей грешной души раскаялся. Господи, какое это было чувство, как он рыдал и какие жгучие очистительные слезы струились по щекам! Никогда прежде ему не доводилось испытывать ничего подобного этому раскаянию, и нет слов, чтобы описать его. В беспмятстве, впадая в забытие и в обморок, он бросился к двери как был, в трусах и майке, выбежал на лестничную площадку – к людям, к спасению. Он не помнил себя. В ужасе, боясь, что вот-вот умрет, позвонил в одну дверь, в другую, потом бросился к Андрею Петровичу. Ему открыли. Он помнил себя лежащим в кресле, помнил, что цеплялся за теплые, по-матерински нежные руки Наташи, которая считала у него пульс и гладила по голове, помнил сконфуженного Андрея Петровича, стоящего поодаль; и слова старухи о нем, словно о покойнике, в прошедшем времени: «А ведь такой был интеллигентный человек». Что она имела в виду, бог знает. Главное же, что запомнилось, – это теплота Наташиных рук, ее озабоченный голос, та обеспокоенность и смута, которые он внес своим вторжением. Нахлынуло очень давнее, возможно, еще младенческое чувство, испытанное когда-то: так же, как теперь Андрей Петрович, тогда стоял смущенный отец, не знающий, чем ему помочь, так же, как Наташа, тогда хлопотала возле него мать, и так же беспомощен был он сам.

– Пульс у него какой-то неровный: то исчезает совсем, то учащен, – сказала Наташа. Ее слова были приятны ему, как избалованному, капризному ребенку, слезы которого, наконец, возымели действие на родителей. Когда Наташа спрашивала, что с ним, он отвечал замогильным голосом:

– Мне страшно, страшно... Побудьте со мной: я боюсь...

– Чего вы боитесь?

– Не знаю... боюсь... – лепетал он расслабленно и с преувеличенной торопливостью хватал Наташину руку.

– Чистый неврастеник, – сказала Наташа, обращаясь к Андрею Петровичу. – Что мы с ним будем делать? Позвони в неотложку.

Приехали врачи – уже другие. Они спрашивали, что с ним произошло, Наташа и Андрей Петрович высказывали свои соображения. «Что произошло? – думал Сухонин. – Смешал психотропные средства с алкоголем...» Однако своей догадки он не высказывал. Изнеможенного, его подхватили под руки и повели в его квартиру; он расслабленно свисал, подобно большой шарнирной кукле. Его, покорного, уложили в постель и сделали еще один укол. Андрея Петровича попросили подежурить эту ночь у постели больного – во избежание дальнейших недоразумений. Врачи еще находились в комнате, когда Сухонин, обласканный заботой и вниманием, счастливо заснул, ощущая, как по телу распространяется снотворное тепло забытья.

Андрей Петрович был человек добросовестный, но небескорыстный: наутро он заявил проспавшемуся больному, что всю ночь не смыкал возле него глаз, и Сухонин был вынужден в качестве уплаты за услугу подарить полюбившиеся книги по теории литературы и том шекспировских пьес в переводе пастернака. После сна и медикаментозных средств, которыми его напичкали, он был вял и подаглив, и Андрей Петрович охотно взял на себя роль опекуна. Позавтракав, они отправились в поликлинику к участковому невропатологу. Всю дорогу и в очереди в кабинет Андрей Петрович рассказывал занимательные истории о том, как следует в наш век бороться с депрессиями. Невропатологу, седенькой женщине с усталыми внимательными глазами, Сухонин изложил признаки своего заболевания – с поправками, которые внес Андрей Петрович, при этом присутствовавший. Она ничуть не удивилась, а лишь согласно кивнула, когда Сухонин доверчиво сообщил, что у него что-то странное за одну ночь произошло с зубами: такое чувство, будто они жмут, будто тесно им во рту; и еще: когда он их сегодня утром чистил, то заметил, что на передних протупили какие-то белые пятна. Что бы это могло быть?

– Справьтесь у стоматолога...

Получив направление на консультацию в психоневрологический диспансер, Сухонин развернул бумажку, где было изложено все, что он наговорил, и прочел предположительный диагноз: «Шизофрения?» Именно так, со знаком вопроса.

– Зря ты ей про зубы сказал: теперь она точно подумает, что ты дурак, – произнес Андрей Петрович.

День был погожий, с солнышком на ясных небесах. Через парк они направились в диспансер. Сухонин чувствовал себя несамостоятельным, спутанным по рукам и ногам; одной половиной сознания понимал, что следует проконсультироваться у врача, но с другой стороны в нем назревал протест: по какому такому праву Андрей Петрович взялся шефствовать над ним, опекать, сопровождать, как несмышленного мальчика? Он еще в своем уме.

– Ну, так что, пойдём или нет? – спросил Андрей Петрович, улавливая его внутреннее сопротивление.

– Я потом как-нибудь один схожу.

Они как раз проходили мимо пивнушки и решили зайти.

– Я ведь тоже в свое время страдал душевно, – распинался Андрей Петрович за кружкой пива. – У меня был даже диплом инженера. Много претерпел от первой жены. Тоже от врача к врачу ходил, выискивал болезни, а потом однажды увидел безногого калеку и подумал: «А почему, собственно. Я так переживаю-то? Руки-ноги на месте, голова цела, не дурак – зачем мучаюсь? Ведь вот этому калеке наверняка труднее живется, чем мне». Нельзя быть таким мягкотелым. Ты подумай хорошенько, рассчитай, что тебя травмирует, что тебе мешает жить? Если жена на нервы действует – разведись, если работа – увольняйся. Из любого положения есть выход. А ты застопорился на себе: «Ой, мама, мне страшно!» Ты отвлекись от этих мыслей. Хочешь, я тебя с одной женщиной познакомлю? Прелесть женщина. Дурь-то из тебя быстро выйдёт.

– Я женат.

– «Женат»! Да ты, может быть, не на той женат. Женщин на свете много; надо сперва примериться, попробовать, пожить с ней. А ты, может, как увидел свою зазнобу, сразу в загс побежал не подумавши. Такой молодой, а губишь себя. Я за вами давно наблюдаю; жена у тебя властная, грубая, держит тебя под каблуком, а ты человек мягкосердечный, меланхолик. При таком раскладе и не хочешь – в психушку попадешь. Психические нагрузки надо снимать. Живешь как вяленая вобла, затвердил одно: уши выше лба не растут. А может быть, растут, откуда ты знаешь? Ты разве пробовал жить иначе, свободнее? Вот то-то и оно. Бери пример с меня: мне пятьдесят пять лет, а я еще здоров, как бык, с любой женщиной справлюсь, компанию умею поддержать, и все меня любят. Потому что я тень на плетень не навожу, живу как умею, и сам черт мне не брат. А ты забился, как мышь в нору, и сидишь, дрожишь, всего боишься. Эх, некому тебя уму-разуму научить, вот что!

Эти увещевания и наставления были Сухонину неприятны, как и холодное терпкое пиво.

– Не надо меня учить жизни, я сам как-нибудь разберусь, – сказал он. – И вообще, чем кумушек считать трудиться, оборотились бы на себя, Андрей Петрович. Вам шестой десяток, а что вы имеете за душой? Полулегальное существование, распри с законом и свободу частного предпринимательства. Жаль, что я не подарил вам учебник по криминологии: там социально дифференцированы лица, уклоняющиеся от работы и живущие на нетрудовые доходы.

Андрей Петрович обиделся.

– Я думал, у тебя широкая душа, а ты, небось, пожалел, что книжки мне подарил. Живи, как хочешь, мне-то что за дело. Я просто вижу, что человек пропадает не за понюх табаку. Нагрузился, как вол, обязанностями и все на себе тащит. Ты же в свои тридцать лет уже старик, эмоции у тебя атрофировались.

– А знаете что, – предложил Сухонин. – Давайте продолжим дискуссию у меня дома. Пока жены нет. Не люблю я эти пивнушки. Я угощаю.

Андрей Петрович от дармового угощения не отказался, гордыню свою обуздал, и мир был восстановлен.

Так они и дискутировали весь вечер и всю следующую ночь напролет – каждый со своей ценностной установкой: один отстаивал принцип разгульной жизни, а другому по душе была жизнь целесообразная и целеустремленная. Много было выпито и сказано на этот счет, но истина им не открылась – разве что та, немудреная, которая обретается на дне бутылки. К утру оба изрядно осовели, Андрей Петрович держался стойко и пел цыганские романсы под гитару, Сухонин умиленно слушал и даже прослезился. Наступало 31 декабря, канун Нового года. В квартире висел и колыхался трехслойный сигаретный сизый дым. Они собирались уже расставаться, когда дверь распахнулась и в прихожей показалась Марина, румяная с мороза, красивая, как светлый ангел в преисподней.

– Ну-у, надымили, хоть топор вешай! – сказала она.

Марине все говорили – и родня, и подруги: не выходи за него замуж, видишь, он какой-то блаженный, не в себе; разве может такой содержать семью? Она никого не послушалась и со всеми переругалась из-за Сухонина. Он был, точно, слегка чокнутый, но зато не пил запоем, как другие, и не гулял. Они встречались два года; он ухаживал настойчиво и терпеливо, дарил цветы, водил в кино. Была любовь. Женщин до нее у него не было, но целоваться он умел, а со временем постиг и всю прочую науку. Читал чужие и сочинял свои собственные стихи – все, как полагается в любви. У Марины опыта было вряд ли больше – так, две-три интрижки в институте, танцульки, вот и все. Так как она была высокорослая и своего роста стеснялась, то искала поклонника себе под стать, высокого. К семейной жизни они были плохо подготовлены, вся домашняя обстановка, начиная с мебели и кончая столовым набором, была приобретена на родительские сбережения. Когда любовь минула и потянулись серые будни, в супругах обнаружились и идейные расхождения. Оказалось, например, что Сухонин торопыга и неврастеник, хочет объять необъятное, часто и без толку мечется, много занимается самокопанием и докучным самоанализом, а зарабатывать деньги – не большой охотник. У Марины был родственник, кузен, так тот, когда приезжал в родную тверскую деревню из Москвы на «жигулях», увозил с собой шесть мешков клюквы, восемь ведер разнообразного варенья, килограмма три-четыре сушеных грибов и несколько мотков пряжи из натуральной овечьей шерсти, – вот это была хватка; работал же на стройке каменщиком, зарабатывал много, а сына своего отдал в школу хорового пения, так что тот в свои неполные двенадцать лет уже сам приносил в домашнюю копилку ровнехонько семьдесят рублей – концертировал. «Вот как устраиваются люди, – подытоживала Марина. – А что твои сто сорок рублей для московской жизни? Тьфу, одно пустое томление духа!» – «Деньги скоро отомрут», – пытался ерничать Сухонин. «Как же, держи карман шире!» – злилась Марина. Сухонина занимали боле возвышенные идеи, как то: смысл жизни, совесть, назначение человека, любовь. Он был большой дока по части отвлеченностей. Когда еще теплилось в них взаимное чувство, в те приснопамятные первые годы после свадьбы, они не замечали и не страдали от того что у них нет напольного ковра или хрустального сервиза: им достаточно было приласкаться друг к другу, как все неприятности и житейские дразги забывались. Но время шло и умудряло, только Марина безоговорочно принимала внушенную обстоятельствами мудрость, а Сухонин остался прежним беспечным идеалистом. Воспитывали, что ли, его неправильно, в детстве, что ли, заласкивали, недоумевала Марина. На этой почве они и конфликтовали. Так они и жили. И перестроиться Сухонин

не мог: не хватало юркости, шустрости, оборотистости, не доставало смекалки и оптимизма, – вечно кис, как Емеля на печи, мечтал и баюкал свои бесплодные прожектерские планы, вынашивал что-то такое, высиживал, как курица на яйцах, ждал калик перехожих, которые бы дали напиться могучей воды, чтобы он сумел перевернуть весь мир. Такой был чудосочный мечтатель. И мало-помалу в его неблагоприятную голову закрадывалось сомнение: уж не права ли жена? Может, ему следует грести под себя и хапать, пока не поздно?

Такова была расстановка сил. Так что проповедь Андрея Петровича о личной независимости, его вкрадчивые слова упали на подготовленную почву: уже давно Сухонин задумывался, так ли живет и не попробовать ли жить иначе...

Увидев Марину, Андрей Петрович подобру-поздорову ретировался, и Сухонину пришлось держать ответ за соблазнительные действия одному.

– Спозаранку причащаешься? – спросила Марина риторически, поскольку ясно было, что – причащается.

– Ты еще не знаешь, что со мной произошло. Я чуть не умер. Мне надо менять образ жизни.

– Да, надо: надо больше денег зарабатывать и заботиться о ребенке.

Слово за слово – супруги поссорились. Возбужденный, не выспавшийся, обозленный, Сухонин ушел к Гренадеру. Тот со странной поспешностью хозяина, который залучил желанного гостя, сбегал в магазин, купил водки – и хмельная дискуссия продолжилась. Никогда прежде Сухонин не пил так много и так долго не бодрствовал. Андрей Петрович говорил без умолку, с каким-то садистским наслаждением загоняя каждое слово, пропитанное сарказмом и поучительством, в помутненный мозг соседа, словно гвоздь в крышку гроба, – по самую шляпку. Поначалу-то Сухонин еще вставлял два-три сдержанных замечания в безудержный и агрессивный монолог Андрея Петровича, но вскоре совсем замкнулся, нахмурился, претерпевая его неиссякаемую речь, как нудную зубную боль. Сухонин был человек терпеливый до крайности, до последней возможности терпеть, но Андрей Петрович, даже если учесть, что он две ночи не спал и взбудоражен алкоголем, все же извергал слишком мощный поток слов, слишком наставительно ораторствовал, а под конец стал попросту провоцировать, задирать и унижать, чтобы вызвать ответную вспышку гнева или хотя бы раздражительную ответную реплику. Нечто странное происходило в душе Сухонина: он терпел, кивал, криво усмехался, но его словно бы заклинило – ни перебить Андрея Петровича, ни возразить ему, ни оправдаться не мог. Казалось, оба задались целью: один – обличать и воинственно наставлять, другой – молчать и слушать, сдерживаться до тех пор, пока это возможно, хотя перед глазами уже все плывет и кружится, хотя ярость подступает к горлу, хотя дрожь пробегает по телу и в голове звенит от тяжелого безысходного возбуждения. Странный это был поединок пожилого человека с молодым, прокурора с подсудимым. Сухонин терпел это истязание весь день до вечера, мучительно устал и наконец не выдержал – ударил кулаком по столу и так рявкнул на Андрея Петровича, что тот на секунду опешил.

– Ага, вот ты как! – возопил Андрей Петрович. – В таком случае убирайся к жене! Зачем ты ко мне пришел? Что ты на меня окрысился? Я не прав? Нет, ты скажи: разве я не прав?

– Вы правы, – с почтительным смирением ответил Сухонин, готовый после внезапного всплеска ненависти и злобы терпеть суровое шельмование, если понадобится, до самой своей смерти.

– А раз так, одевайся и пойдем. Я познакомлю тебя со славной женщиной.

– Жена меня не отпустит: скоро Новый год, – промямлил Сухонин: ему не хотелось ни возвращаться к Марине, ни принимать предложение Андрея Петровича.

– Ты можешь к ней не заходить: у меня найдется, во что одеться. Вот вполне приличное драповое пальто, вот шляпа. Ехать не слишком далеко, не простудишься...

Было нечто унижительное в этом переодевании, но Сухонин безропотно подчинился; загипнотизированный и одурманенный, он чувствовал только, что Андрей Петрович каким-то странным образом ассоциируется с отцом (с его, Сухонина, отцом) и не повиноваться – значит проявить сыновнюю непочтительность.

Все дальнейшее представлялось смутным калейдоскопическим сном. Долго ехали куда-то в пустом трамвае; стоял крепкий морозец, Сухонин быстро застудил ноги и притопывал ими, чтобы согреться. Затем вспоминалась какая-то темная коммунальная квартира, стол, соседи, какая-то увядшая пятидесятилетняя женщина, которая то и дело просила у Сухонина огонька – прикурить; потом вдруг все исчезли, именно внезапно, вдруг (первое их тех «чудесных» немотивированных исчезновений людей и предметов, которые впоследствии так пугали). Он поднял с полу оброненный паспорт, развернул его. Паспорт принадлежал Гренадеровой Фомаиде Федосьевне, увядшей женщине, курившей зловонные дешевые сигареты, – второй жене Андрея Петровича... Итак, все исчезли и больше уже не появлялись; лишь под утро пришел Андрей Петрович, мертвецки пьяный, рухнул на кровать не раздеваясь и сразу же заснул. Сухонина тоже тянуло в сон, он чутко дремал в кресле и сквозь дремоты видел эту самую Фомаиду: она то появлялась, то исчезала, то ложилась рядом с Андреем Петровичем, то, шатаясь, бродила по комнате, невнятно бормоча и хихикая, то опять надолго пропадала – и тогда из ванной доносился ее сдавленный рвотный вскрик. Сухонин боялся заснуть, а только чутко дремал, потому что странное тревожное чувство двойной смертельной опасности не покидало его: опасность исходила и от пьяного Андрея Петровича, и – в еще большей мере – от его сумасшедшей жены, которая, очевидно, и была той самой обещанной «славной женщиной». Ее Сухонин почему-то олицетворял (смутно, сквозь многолетние наслоения памяти) со своей матерью, а себя в дреме ощущал как бы их сыном, который равно боится и пьяного отца, и сумасшедшую мать.

Бог ведает, как промучился он эту очередную бессонную ночь. Ясно вспоминал утро первого января, вспоминал утренний пустой морозный трамвай, в первых креслах которого сидел надменный, презрительный Андрей Петрович, а в хвосте – он, униженный неким преподавательским уроком (уроком знакомства с сумасшедшей женщиной), в этом дурацком, с чужого плеча, а может быть, и уворованном пальто и фетровой шляпе. Между ними во весь путь не было произнесено ни слова, ехали отчужденные, молча рассорившиеся, – давняя, без слов, вражда отца и сына.

Что думала Марина о муже, который неизвестно где и с кем провел новогоднюю ночь? Естественно, что она встретила его бранью. Не вступая в перебранку, он оделся и ушел, хлопнув дверью и решив больше не возвращаться домой. Он снимет квартиру и расстанется

с женой. Хватит, настрадался. В новом году начнет жить по-новому. Он поехал в Банный переулок.

Банный переулок – это особый мир, в котором сталкивается невероятное множество разбитых судеб и светлых, еще не оперившихся надежд. Разбитые судьбы предстают в виде стариков и старух, которые хотели бы иметь непьющего квартиранта, с тем чтобы тот ухаживал за ними на старости лет. А светлые надежды представляют по преимуществу молодые супружеские пары и холостяки, которым почему-либо негде жить. И вот они между собой договариваются, обмениваются номерами телефонов. Сухонин, разумеется, воплощал надежду, потому что, хотя жизнь его и была отчасти разбита, он еще надеялся все поправить. Главное было – начать. Едва он появился на толкучке, сразу же стали подходить молодожены с вопросом: «Сдаете?» – и он прилежно всем отвечал: «Сам снимаю» и думал, что если что и сдает, так это свои жизненные позиции. Все это живое скопище людей волновалось, подобно прибою, переминалось с ноги на ногу, окружало каждого вновь прибывшего и боязливо оглядывалось, нет ли поблизости стражей порядка. Носы и щеки как у квартироръемщиков, так и у квартиросдатчиков приобретали на морозе сливовый оттенок. В первый же день Сухонин сговорился с пышной, полнотелой сорокалетней блондинкой, которая увезла его в Бескудниково показывать апартаменты, но едва он увидел запущенную комнату со столом, покрытым дырявой клеенкой, и с убогим инвалидом-диваном, и едва уразумел, что хозяйка будет жить в соседней комнате, как на душе сделалось пасмурно, и он уехал ним с чем: менять шило на мыло, драгоценную жену на неизвестную неряшливую особу – нет, это никуда не годилось; да и шестьдесят рублей на дороге не валяются.

Он посещал квартирную толкучку еще неделю. За это время осмотрел еще одну квартиру – сурового бородатого парня, у которого в прихожей висели большие поясные портреты Сталина и Пушкина, но бородач вел себя подозрительно, спрашивал документы и выдвигал множество ограничительных условий, так что Сухонин с ним тоже не поладил и вернулся восвояси. В течение новогодней недели он ни словом не перемолвился с женой и каждый вечер после работы уезжал на толкучку. С каким-то стариком, который твердил: «вам у нас будет хорошо», он уже дошел было до метро, но старик чересчур подобоострастничал, расхваливал себя, старуху и квартиру, а жил между тем у черта на куличках, в Орехово-Борисово, и Сухонин решил не искушать судьбу – вернулся. Хотелось снять по возможности однокомнатную квартиру с телефоном по сходной цене, но предлагались в основном комнаты, квартиры же стоили до ста двадцати рублей и больше – не по карману; да притом еще через подозрительных лиц, через барышников и перекупщиков. Между тем семейная обстановка накалялась: Марина перестала готовить, обстирывать и вообще – третиговала почем зря. Сухонин стоически переносил все превратности судьбы, как вольтеровский Кандид. Десятилетней супружеской жизни как не бывало – такой холод сквозил в отношениях с женой. Хорошо еще, что дочка осталась в Васюкове и борьба самолюбий происходила не на ее глазах. Теперь Сухонин все чаще заходил к Андрею Петровичу, и тот поддерживал его бракоразводные поползновения. «Если не заладилось, надо рвать сразу», – авторитетно заявлял он.

Наконец Сухонин познакомился с Витенькой Киселевым. Тот жил возле Курского вокзала в доме, подлежащем сносу, из которого выехали почти все жильцы. Витенька занимал большую трехкомнатную квартиру с тараканами; две комнаты пустовали, и их окна были заколочены фанерой; в одной еще стояли кровать и сервант. Жилище было на первом этаже и мрачное, хотя и с высокими старомосковскими потолками. Витенька запросил сорок рублей и сказал, что ночевать будет у жены. Жена его как раз родила двойню и жила где-то бог весть как далеко отсюда. В первый день Витенька собственноручно приготовил борщ для квартиранта

и вымыл жилую комнату мокрой шваброй. В его отношениях с женой, если только она не была мифической, тоже что-то не клеилось, поскольку и на второй, и на третий день – к великой досаде Сухонина – он ночевал в пустой комнате на полу, подстелив старые ватники. Витенька работал на заводе фрезеровщиком, и похоже было, что все деньги тут же спускал. Во всяком случае, он охотно принял конфузливое приглашение к выпивке. Сухонин почему-то побаивался Витеньки, его очень тихого голоса, тех неуловимых черт характера, которые наводили на мысль, что Витенька человек темный, подонок и, может быть, гомосексуалист. У Витеньки было много множество друзей, таких же пьяниц и озлобленных люмпен-пролетариев, которые некстати вваливались в любое время дня и ночи, хотя, арендуя это жилье, Сухонин специально оговаривал в качестве основного условия, чтобы его никто не смел тревожить. От великой доуки, которую причиняли и Витенькины ночлеги, и задушевные его разговоры про жисть, и внеурочные друзья. Сухонин уже подумывал, а не съехать ли и не пойти ли снова на толкучку, но тут произошло событие, весьма скандальное, так что он, не насладясь ни душевной независимостью, ни холостяцкой свободой, вынужден был бежать, бежать без оглядки.

А случилось вот что. Как-то раз Марина позвонила ему на работу и сказала (голос у нее был металлический, чеканный):

– К тебе тетушка приехала. Забирай ее к себе, иначе я ее выдворю с милицией.

Когда вечером Сухонин появился на родном пепелище, он застал там три воинственные фигуры: во-первых, жену свою Марину, во-вторых, свою тетушку Веру Ивановну, приехавшую погостить к племяннику из Пенников, дальней северной деревушки, а в-третьих, Светлану Андреевну, московскую тетушку Марины, приглашенную, надо думать, специально ради предстоящего генерального сражения. Светлана Андреевна, крупная женщина с обвислыми щеками и подбородком, работала продавцом в продуктовом магазине на Красной Пресне, и через нее в прежние мирные годы семейство доставало сервелат. Вера Ивановна жила вдовой в упомянутой деревне и со дня свадьбы постоянно помогала молодоженам, посылая полотенца, вышитые северным узорочьем, клюкву, бруснику, морошку, грузди и тому подобные дары леса, помогла купить стиральную машину и холодильник. Несмотря на пожилые лета, она была еще легка на подъем и приехала погостить к племяннику с подношениями в виде простыней и пододеяльников, а также со своим фамильным альбомом. Каковы же были ее первоначальные изумление и негодование, когда она узнала, что Сухонин недели две как съехал и теперь находится неизвестно где.

– Ты что, квартиру ей оставил? – закричала она, увидев Сухонина. – Да ты же дурак. Я что, ради этого тебе помогала, чтобы ты ушел и семью бросил? Отвечай!

Сухонину ответить было нечего.

– Собирайся, поедem, – сказал он удрученно.

– Никуда я отсюда не поеду. – Вера Ивановна села на диван и демонстративно раскинула руки, как бы обнимая доступное материальное пространство. – Здесь все мое. Холодильник мой, половина книг моя, все по подписке для тебя доставала...

– Если вы не уедете, я позову милицию, и вас выставят отсюда, – взъерепенилась Марина. – Что за наглость: «все мое»! Забирайте, раз ваше, и уходите вместе с племянником со своим.

– Ты не имеешь права прогонять его: квартира на него прописана.

– Никто его не прогонял. Он сам ушел. Он же псих, психанул и ушел. Захотелось одному пожить. Вот пусть и живет, я не знаю, где он шляется, и знать не хочу, а только чтобы здесь больше ноги его не было. Забирайте! Берите, берите! – Марина вдруг принялась снимать и скачивать половики, которыми был устлан пол, и швырять их к дверям. – Берите! Это все ваше, забирайте и уходите отсюда. Мне ничего вашего не надо, только оставьте меня в покое.

– Да как ты смеешь!?! – Вера Ивановна порывалась драться. Светлана Андреевна тоже встала в позытуру, готовая вступить за племянницу. Назревало происшествие, известное в уголовном праве как дебош.

– Тетя Вера, не надо, оставь ты, ради бога, всё, поедем отсюда, – сказал Сухонин плаксиво: ему вдруг стало нехорошо, дурно. Такой разгневанной он еще не видел Марину. – Одевайся, иначе я один уеду.

– Тебя выгоняют из собственной квартиры, а ты не можешь за себя постоять. Сопляк ты, вот кто! – сказала Вера Ивановна, в гневе срывая пальто с вешалки.

Между тем Марина, открыв дверь, выбрасывала половики на лестничную площадку; голос ее гремел и разносился по этажам. Сухонин выбежал на лестницу, и Вере Ивановне ничего не оставалось, как последовать за ним. Всю дорогу, пока ехали в такси до нового местожительства, она бранила свояченицу на чем свет стоит. Таксист, молодой парень, улыбался в усы. Сухонин резонировал расходившуюся тетушку.

.Оказавшись в темной и обширной Витенькиной квартире под номером 13 (Витеньки, к счастью, дома не оказалось), Вера Ивановна расплакалась.

– Горе ты мое луковое, – причитала она. – Что я теперь твоей матери-то скажу? Какая муха тебя укусила, почему ушел-то? А я-то ехала к тебе, радовалась, думала, свяжу ему свитерок из теплой шерсти, а он эвон какие финты выкидывает. Что теперь делать-то будешь? Как жить-то дальше? Зачем ушел-то, может, еще помирились бы, не выгнала бы она нас вдвоем-то...

– Что теперь плакать, – сказал Сухонин. – Сделанного не воротишь. Да и не хочу я с ней жить: это не женщина, а бульдозер. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.

– Как же мне не плакать? Я ли тебе не желала добра, я ли для тебя не старалась? А вышло что? Непонятно, ох, непонятно вы живете, молодежь. Сестра твоя с третьим мужиком разошлась, ты вот теперь от жены бегаешь. Мы в свое время жили как: лебеду с мукой да с картофельными очистками смешиваешь, шаньги испекешь да и ешь. А у вас ведь все есть, чего вам еще не хватает, не пойму никак...

Сухонин чувствовал себя отвратительно. Мало того, что Витенька еженощно ночевал, – еще и тетушка свалилась на его голову. Вера Ивановна была человек со странностями, чудачка. Всю жизнь, пока не стала пенсионеркой, она работала в школе уборщицей, а потом в краеведческом музее смотрительницей. Северный городок Вышняки, в котором она тогда жила, был хоть и маленький, но древнее Москвы, и основался на холмистых берегах Логатовки при

солеварнях. Там и сям на холмах высились старые церкви, пощаженные временем, с картушами на стенах; вокруг них лепились бревенчатые избы с палисадниками и приусадебными участками. У Веры Ивановны был собственный пятистенный дом с огородом и сараем. После смерти мужа она проживала в нем одна, а чтобы не скучать и иметь дополнительный доход, пускала постояльцев – деревенских парней и девушек из профтехучилища, которые на выходные разъезжались кто куда. Квартировал у нее в свое время и Сухонин. Любя племянника, Вера Ивановна приносила ему из школьной библиотеки увесистые тома Большой Советской Энциклопедии: отроком Сухонин, глуша чувственные порывы, усиленно впитывал книжную мудрость, много читал, теоретизировал, сладко мечтал. Вера Ивановна водила и прикармливала множество беспородных кошек, калякала с квартирантами, осенью копала картошку и собирала крыжовник, колола дрова – словом, хлопотала, но уже тогда, случалось, сутками ни с кем не разговаривала, бродила сумрачная, вполголоса бранилась, брюзжала либо валялась в постели с головной болью и компрессами на лбу. Эти два ее состояния – болезненно-подавленное и агрессивно-брюзгливое – чередовались; она верила в приметы, в сглаз, в способность людей наводить порчу; от внешней угрозы она оберегалась заговорами и заклятьями, в которых фигурировал какой-нибудь неизменный бел-горюч камень в окяне на острове Буяне, троекратным сплевыванием через левое плечо, окроплением углов, а то и просто энергичным ругательством: ей чудилось, что ее преследует нечистый дух, и она отсылала его восвояси. Присмирившие квартиранты слушали ее проклятья, непонятно кому адресованные, сознавали какую-то свою вину и боялись спать в темноте. Однако нередко Вера Ивановна бывала и добродушна, и приветлива с жильцами, и словоохотлива. Чем ближе к старости, тем чаще она чудила; у нее обнаружилась охота к перемене мест. Свой городской дом она продала и поселилась сперва в пригородной деревне, а потом и вовсе в глуши, в Пенниках, поближе к младшей сестре Марии, матери Сухонина. Деревенский дом Веры Ивановны был обширен и пуст: пустовал сарай, потому что огородное сено, едва выкосив и высушив, она продавала, пустовал хлев, потому что скота она не заводила, пустовала банька, в которой она мылась крайне редко, пустовали комнаты. Впрочем, в одной из них стояло кросно – ткацкий станок, доставшийся еще от бабушки; на нем Вера Ивановна ткала половики, которые затем развозила многочисленным родственникам и знакомым. Лето и осень она проводила в деревне – растила картошку, клубнику, смородину, солила рыжики и волнушки, а зимой со всеми этими вареньями и соленьями объезжала родню – у одного поживет, у другого, у третьего, и так скоротает зиму. Дары принимали охотнее, чем ее, потому что теперь она чудила непрерывно и ее побаивались: кто знает, что взбредет на ум человеку с придурью? По ночам не спала, бодрствовала, бродила, что-нибудь нашептывая, а днем отсыпалась, – совсем как грудной младенец, перепутавший день с ночью; ясно, что эта привычка приносила хозяевам много неудобств. Такова была Вера Ивановна. Вообразите теперь, что испытывал Сухонин, укладываясь спать на Витенькиных ватниках, а кровать предоставив тетушке. Он жаждал свободы и одиночества, а приобрел одни немислимые хлопоты.

За полночь пришел Витенька. Сухонина била мелкая дрожь, когда он открывал дверь. Пришлось освободить ватники и улечься на полу в комнате, где спала тетушка. Не привык Сухонин к спартанской жизни, жестко было на голых половицах, из щелей дуло холодом. В ту ночь он так и не заснул, а наутро надо было идти на работу. Он ворочался с боку на бок и придумывал, как расстаться и с Витенькой, и с тетушкой; томила тоска. Хотелось укрыться от людей хоть в какой-нибудь убогой комнатенке, чтобы сотворить без суеты и спешки прекрасное произведение – симфонию, поэму, картину.

Утром, когда Витенька ушел, Сухонин стал укладывать чемодан. Он чувствовал себя очень несчастным.

– Ты куда? – спросила Вера Ивановна.

– Я не для того снял квартиру, чтобы мне мешали! – рассвирепел Сухонин. – Вот ключ: куда пойдешь, запрешь.

Он бросил ключ на стол.

– Я здесь одна не останусь, – сказала Вера Ивановна. – Я боюсь этого твоего друга – он, наверно, бандит какой-нибудь.

Сухонин чуть не заплакал от злости, когда Вера Ивановна двинулась вслед за ним к выходу. Им овладело мстительное упрямство. Они, должно быть, представляли живописную группу – впереди тощий Сухонин с двумя чемоданами своих пожитков, направляющийся по Садовому кольцу в сторону Курского вокзала, за ним, не поспевая, – тетушка со своими сумками и баулами. Он шел не оглядываясь. На вокзале, смешавшись с пассажирами, Вера Ивановна потеряла его из виду. Он облегченно вздохнул, когда понял, что его больше не преследуют, спустился к камерам хранения и, со страдальческой миной на лице выстояв длинную очередь, сдал чемоданы. Ясно, что тетушка вернется в деревню, и теперь он волен как птица; родственников угрызений совести он не ощущал: в самом деле, тетушка сама виновата, что приехала так некстати. Не беспокоило и то обстоятельство, что Витенька не попадет в квартиру: его квартира открывалась и без ключа, стоило отогнуть гвоздь, прикрывавший дверную створку сверху. Сухонин выпил кофе с бутербродом и, жмурясь, вышел на привокзальную площадь. Позвонил на работу и, сославшись на болезнь, сказал, что сегодня не придет. Так славно было чувствовать себя никому и ни в чем не обязанным, свободным, бездельным! Он всегда любил эти преходящие, но счастливые состояния недолженствования. Хотелось уехать куда-нибудь, сойти на незнакомой станции, потерять паспорт и трудовую книжку, все документы, идентифицировавшие его с другими озабоченными людьми, и начать жить сначала.

Однако не было ни пристанища, ни денег, и следовало что-то предпринимать. Сухонин тяжело вздохнул, ощутив себя никчемным, ничтожным человеком. Кому он нужен без крыши над головой, без положения в обществе, без денег? «Деньги, которыми располагаешь, орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, орудие рабства», сказал Руссо. Все куда-то торопились, вокруг кипела целесообразная суетливая жизнь, а он чувствовал себя ни к чему не приспособленным. Подумалось вдруг, что надо уволиться с работы и, получив деньги, уехать к родителям в Петровку; уж они-то примут, пожалеют, обогреют. От этой мысли о передышке на родительском попечении Сухонин опять повеселел и ощутил прилив энтузиазма. Чего ему опасаться, чем дорожить? О чем сожалеть? Мир неограниченных возможностей открывается лишь перед тем, у кого есть, по крайней мере, свобода выбора. Уж теперь-то он станет жить разнообразнее, рискованнее, обновленнее, чем прежде. Ради куска хлеба и благопристойности он до сего дня умертвлял в себе душу живую, но теперь с этим покончено; есть тысячи путей, которые ведут к счастью, к осмысленной жизни, к исполнению желаний.

Словом, забастовал. Трое суток провел на вокзалах – на Курском, на Казанском и на Ярославском. Денег достал, съездив домой в отсутствие жены и продав десяток книг из своей библиотеки в букинистический магазин. Нельзя сказать, чтобы это были самые счастливые дни в его жизни, главным образом потому, что он не высypался как следует – спал в залах ожидания, сидя.

Горячие, самолюбивые и гордые мысли не покидали его. В Москве были родственники и друзья, но он не звонил им, чтобы переночевать в сносных условиях, – никому не хотел быть обязанным. На третьи сутки, однако, почувствовал себя плохо: от недосыпу и крепкого кофе, который он пил с утра до вечера, сердце стучало, как отбойный молоток, наваливалась усталость, сонливость; да и деньги, опять же, кончались. Счастливое ощущение свободы притупилось; теперь он многое отдал бы за свежую уютную постель, за безмятежный сон. Пришлось идти на компромисс с людьми.

Он позвонил Ольге, двоюродной сестре, которая жила в Серебряном Бору, вкратце рассказал, что поссорился с женой и просит ненадолго приютить его. Он презирал себя, свою слабость, решившись на этот шаг, но делать было нечего. У Ольги была собственная семья, муж и ребенок; она приняла сердечное участие в его конфликте, соглашалась примирить его с женой, но он отверг помощь: не надо его мирить, он знает, что делает, с этой мужеподобной бабой невозможно ужиться. Он позвонил ей утром в субботу и мог бы тотчас поехать, но отложил свой визит до вечера, чтобы про него не подумали, что он в полной прострации и совершенно бесприютен. Весь день проболтался по городу и измучился окончательно, утомился до того, что пошатывало при ходьбе. Голова была пустая, ясная, звонкая, как котел.

Как он и опасался, Ольга подробнейшим образом расспрашивала о случившемся, Валентин, ее муж, весело хохотал и, доверительно хлопая его по плечу, говорил, что все бабы одинаковы: деньги и ребенок им нужнее, чем муж. Он отмалчивался, уплетал голубцы, а супруги пикировались. Валентин был не дурак выпить, а поскольку зарабатывал много (он гранил и шлифовал алмазы), то часто позволял себе это удовольствие. Сухонин поддавался на дружеские увещания и думал, что, в сущности, каждая семья несчастлива по-своему, у каждой свои проблемы, антагонизм между мужчиной и женщиной заложен уже на биологическом уровне.

Ему постелили в гостиной на раскладном диване. Заснул быстро и беспечно, но проснулся рано – из-за того, что пятилетняя крепышка Юлька норвила ухватить его за нос. Сразу после завтрака исчез, сославшись на мнимые неотложные дела; дел никаких не намечалось, но он не хотел надоедать Савиновым, милостиво приютившим его. Он чувствовал себя у них скованным. Нелюдимость и замкнутость в нем прогрессировали с каждым днем.

В том, что и у Савиновых, хотя дом их был полная чаша, не все ладится в семейных отношениях, он убедился на следующий вечер. Хотя он пришел уже в десятом часу, Валентина дома не оказалось: дурной пример заразителен. Ужин прошел в тягостном молчании. Сухонину стало совестно, и он, чтобы не быть свидетелем чужой драмы, после ужина сказал, что, пожалуй, поедет домой – попробует примириться. Ольга его не удерживала.

Сердце, когда он осторожно поднялся по лестнице на четвертый этаж и остановился у самой двери, колотилось во всю мочь. За дверью счастливо смеялась Инесса и что-то неразборчиво ворковала Марина. Он постоял на площадке, попереминался на коврике у порога, и ему стало грустно; он понял, что войти не сможет. «Раз им весело без меня, пусть живут одни», – подумал он и вышел в подъезд. Падал легкий снег. За каждым окном, где горел свет, протекала мирная вечерняя хлопотливая жизнь; люди готовились к новой рабочей неделе, смотрели телевизор, укладывались спать. Куда податься, что делать? На вокзал он больше не поедет, нет, хватит. Он доведет это дело до конца – снимет квартиру, разведется и станет жить один, в свое удовольствие и как получится. Мужчина им действительно не нужен – был бы ребенок да крыша над головой. Что ж, тем лучше. Рано или поздно она вспомнит о нем, спо-

хватится, поймет, что угнетала и третировала благороднейшего, умнейшего человека, но будет уже поздно.

Утешаясь мыслью о грядущем возмездии, которое постигнет неблагодарную жену, Сухонин сел в такси и возвратился к Ольге.

Та встретила его с недоумением и в слезах: Валентина до сих пор не было дома. Сухонин не стал объяснять, почему вернулся, – сказал только, что передумал, не поехал, возвратился с полдороги. Ольга молча укрылась в комнате, где спала Юлька. В полночь позвонил Валентин, развеселым хмельным голосом приветствовал его, сказал, что встретил старых друзей, задержался и, пожалуй, заночует у них.

– Жену не зови, – сказал он заговорщически, – а просто скажи, что у меня все в порядке, а то раскричитесь. Желая приятных сновидений. Со своей-то женой так и не помирился, что ли? Ну, ты даешь!

– Ну, и ты тоже даешь, – сказал Сухонин. – Жена в слезах, а он где-то развлекается.

– Она меня ревнует к бабам, – расхохотался Валентин и положил трубку.

В эту ночь Сухонину спалось плохо; он совестился, понимал, что становится невольным наблюдателем чужих семейных неурядиц, которые, может быть, сам же и спровоцировал. Следовало что-то как моно скорее предпринимать: ютиться у родственников, у которых своих проблем хватало, – не дело. Надо опять ехать в Банный переулок, развешивать объявление – действовать. Совсем приживальщиком стал – никакой гордости.

Мало-помалу, бесприютному, ему стало казаться, что все ждут, когда же он умрет. Объятый мистическим ужасом, он метался среди людей в надежде, что они поддержат, но они – так казалось – шарахались от него. Он, может быть, не отдавал себе отчета, но было ясно, что и к Ольге-то он ездил для того, чтобы она, женщина, утешила и обласкала. «Странный ты человек – н е о т м и р а с е г о . . .» – сказала она в первый вечер, угощая его голубцами. Легко представить, как Сухонин трактовал ее слова, – он, которого в последнее время все настойчивее мучила мысль, что он выделен, как Иов, чтобы пройти через тяжкие испытания. Он приглядывался теперь к людям именно с этой точки зрения. Вероятно, он надоел-таки Ольге своими внезапными ночевками, потому что впоследствии, когда порывался одолжить денег, она поговорила с ним отчужденно, а ее мать, тетка Сухонина по отцу, Зинаида Афанасьевна, орала в трубку, чтобы он прекратил эти безобразия и сошелся с женой.

– Что вам вместе-то не живется, чего вы не поделили? – спросила она.

Он стал замечать и отмечать неведомые прежде с в я з и, вспоминать и придавать особое значение бывшим когда-то случаям, фактам, словам (в психиатрии это называется «бред особого значения»). Он вспомнил, например, своего институтского товарища Валерия Карташова, человека трагической судьбы и необычайного умницу, искавшего оправдание своим поступкам в творчестве Достоевского. Вспомнил, что Карташов дружил со своим тезкой Валерием Инокентьевым, и это была настолько необъяснимая дружба, что Карташов за несколько дней до гибели своего друга в автомобильной катастрофе уже знал, что тот погибнет. «Он плохо кончит: у него на лице печать смерти», – сказал накануне Карташов. И действительно: порывистый, рослый, красивый, вечно куда-то спешивший Инокентьев, «обреченный гибели»

и сильный (руку жал так, что приятели приплясывали от боли), врезался на своем «жигуленке» во встречный рейсовый автобус и через десять минут, не приходя в сознание, умер. Через три дня должна была состояться его свадьба. Карташов в это время снимал дачу за городом (казалось: устранился от грядущего произойти, не участвовал в нем) и, когда Сухонин позвонил ему, сказал: «Я знал, что он недолго протянет. Но я знал и другое – что о его смерти сообщишь мне именно ты». Тогда это провиденциальное знание ошарашило Сухонина. Этот случай, по его теперешнему мнению, проливал дополнительный свет на духовные связи людей. Но не то, что Карташов предвидел гибель друга, и не то, что вестником несчастья оказался именно он, Сухонин, озадачивало и беспокоило теперь, нет! Из всего, что Инокентьев когда-либо говорил именно ему, лично, вспоминалась теперь только одна фраза: «А крепкая у тебя шкура, Виталий!..» Эту фразу Инокентьев произнес однажды, догнав Сухонина на институтской лестнице и ударив сзади по спине. Он имел в виду сухонинскую дубленку, но теперь, припомнив этот эпизод, наш герой не мог избавиться от чувства, что покойник произнес эти слова в осуждение: дескать, дурной ты человек, заботишься о спасении своей шкуры... Эта фраза звучала особенно весомо потому, что Инокентьева уже не было на свете. Так формировалась система самообвинений.

Может быть, у людей есть постоянная нужда в том, чтобы исполнять или дублировать четыре основных функции – отца, матери, сына и дочери. И, видимо, поэтому у Андрея Петровича Гренадерова по отношению к Сухонину возникла и удерживалась потребность выражать чувства отцовские и наставнические. Во всяком случае он по-прежнему не оставлял его в покое, по-прежнему стремился стакнуть с пожилой женщиной и посмотреть, что из этого выйдет, – любовная связь, брак или контры; очевидно, он, отец двух взрослых и двух малолетних сыновей, троюженец, а ныне холостяк, в этом нуждался. Однажды он позвонил Сухонину на работу и сказал, что подыскал для него и хочет его познакомить еще с одной славной женщиной; неудача с Фомаидой Феодосьевной его не обескуражила. Сухонин, как голодная щука, бросался за каждой предложенной блесной; у него не было иного выбора: отказавшись стеснять Савиновых, он не знал теперь, где преклонить голову. Очередная славная женщина работала звукооператором на студии мультипликационных фильмов. Ее звали Тамара. Тома. Андрей Петрович рассказал, как к ней проехать.

– Приедешь туда, там, на месте, я тебя и познакомлю, – заверил он. – Удивительная женщина, мечта поэта. Живет одна в двухкомнатной квартире – где ты еще такую найдешь? Интеллигентная, с деньгами... Она тебе понравится, вот увидишь. Посидим, выпьем, музыку послушаем. Рыжая, стерва. О сексуальных качествах я уже и не говорю. Всё у ней есть, нет только мужика хорошего...

– А вы?

– Ну, я... – Андрей Петрович двусмысленно хохотнул. – Что я? Я ничего...

«Вот уж воистину цыган: расхваливает, точно краденую лошадь продает», – равнодушно подумал Сухонин и согласился.

– Ты не расквасишься, – одобрил Андрей Петрович. – Но прийти надо, конечно, не с пустыми руками, ты меня понимаешь? Не цветы, конечно, не духи – все это мур, а вот винишка, закусочки – это надо: не подмажешь – не поедешь. В общем, мы тебя ждем...

Тамара, смуглая увядшая шатенка лет сорока восьми, вся, как скомканная промокашка, в мелких морщинках вокруг глаз и на щеках, любезно встретила Сухонина в дверях и не произвела никакого любовного впечатления; его лишь насторожил (отпугивающая метка, тайный символ, табу) узкий белый шрам поперек ее пожилой шеи, след давней хирургической операции, и праздное, хотя и деликатное любопытство в усталых добрых глазах. Едва возникнув на пороге, Сухонин сразу понял, что у него с этой женщиной ничего не выйдет. Этот поперечный белый шрам на смуглой коже был столь отчетлив, что он даже подумал, уж не отрезали ли Тамаре голову – впопыхах и напрочь, как античной статуе. О чем говорили, Сухонин не помнил, но Тамара проявила материнскую участливость, и он очень быстро освоился в ее скромной, аскетически неуютной квартире. Даже развязность, с какой Андрей Петрович рассказывал Тамаре о нем и его мытарствах, не возмущала и не коробила. Было решено, что Тамара пригласит на пирушку свою подругу Раю, которая жила в этом доме. Раю так Раю, Сухонин не возражал. Явилась Рая, низкорослая, упругая, как надувной матрас, толстуха, с грудью, необъятной как океанский прибой, с лицом до того невыразительным, настолько не согретым мыслью, что он в первую минуту растерялся. Рая работала продавцом в мясной лавке; Сухонину представилось, как эта раздобревшая рубенсовская туша движется среди свиных, бараньих и говяжьих окороков, и его сразу безотчетно потянуло в сон, словно при виде взбитых пуховиков. Борясь с невольной умопомрачительной дремотой, он силился представить себя с нею вместе в постели и заранее содрогался. Конечно, тепло от нее исходило, ровное тепло обширной русской печи, но Сухонин испугался безвозвратно кануть в это тепло, подобно капле влаги в песок пустыни. Вино и похабный разговор за столом (о половой жизни говорил в основном Андрей Петрович, а женщины хохотали) немного тонизировал и, хотя он не связал с Раей и двух слов, к ее шарообразным формам ощущал нечто вроде робкого вожделения, робкого и кощунственного, запретного потому, что Рая – возрастом ли, телом ли, теплом ли – напомнила ему мать, такой, какой та была полтора десятка лет назад. Перебарывая, отталкивая это неотвязное отождествление, Сухонин, воспользовавшись тем, что на какую-то минуту на кухне они остались вдвоем, обнял Раю сзади и прижался (надо было действовать форсированно, раз уж его свели с нею и познакомили), как прodelывал это с Мариной, если чувствовал желание, но в это время раздался звонок в дверь, на пороге появилась грациозная девочка лет пятнадцати и спросила маму, Рая вышла на зов, а Сухонин почувствовал, что его мутит и не худо бы сейчас поблeвать, сунув два пальца в рот: было тошно, что стремился играть себе не свойственную роль бабника. Больше к Рае он не подходил и никаких чувств не питал, хотя она обращалась к нему с удвоенной надеждой в глазах: видно, почувствовала, что он м о ж е т, способен. Но ему не нравились инсценировка, декорации, бутафория. То, что в момент, когда он примерялся к Рае, появилась ее дочка, было одним из последовавших затем многочисленных случаев с о п а д е н и я д е й с т в и я: когда за его. Сухонина, действием неизбежно следовало чье-то чужое, после которого от своего приходилось отказываться, – мешали, запрещали, грозили наказанием.

Вот так, шаг за шагом, он и сходил с ума.

Пирушка еще продолжалась, и Рая за ним благодарно и настойчиво ухаживала, словно убеждая, что дочка их благоприятному знакомству не помеха, но Сухонин вдруг устал и грубо заявил, что, так как ночевать ему сегодня негде, ляжет в соседней комнате. Рая ушла.

– Какая кошка меду вами пробежала? – вслух недоумевал Андрей Петрович. – То ты к ней льнешь, то она к тебе, а толку нет. Синхронность должна быть.

Сухонин разделся и лег на диван, на свежую постель; хотел было дожидаться, как поведут себя дальше Андрей Петрович и Тамара, чтобы убедиться, что они любовники, но скоро заснул.

В те годы, когда статика, покой и властительная централизация ценились превыше всего, во время унификации лиц, выравнивания голов и усекновения выдающихся Сухонин познакомился с одной интересной женщиной. Анастасия Григорьевна Маракова свободно изъяснялась на нескольких европейских языках, была превосходно образована (западная философия, литература и искусство) и могла бы, что называется, оставить след, но, как и многие в то время, приобрела полезную узкую специальность – переводила одобренные и разрешенные научно-популярные книги, а на досуге и для себя собирала материалы об одном из основоположников русской космологии, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся. Много позже Сухонин уразумел, в чем состояла нелепость положения: учение это как нельзя больше соответствовало духу времени и не находило издателя по чистому недоразумению; фанатически доказывая необходимость подчинения всех людей общему делу (как будто люди занимаются чем-то иным, кроме этого, даже если один сеет рожь, другой расщепляет атомное ядро, а третий ест тюремную баланду), основоположник требовал уравнивать землян по всем параметрам, с тем чтобы они сами научились вырабатывать солнечную энергию в случае, если Солнце погаснет: основоположник, являя эпилептическую изошренность, предусмотрел всё, даже это. Чтобы совершить этот подвиг, чтобы обжить и освоить космические бедны, нужны были железная дисциплина и порядок, которые предполагалось ввести законодательно. Основоположнику было невдомек, что они, как это ни странно, появляются как раз тогда, когда их перестают соблюдать с микроскопически регламентированной дотошностью. И вот эти люди-светляки, люди-светофоры движутся в ночи мироздания, не заботясь ни о чем, полностью перейдя на самообеспечение. Но не этот пункт выделяла Анастасия (Аспазия) Григорьевна, излагая учение основоположника. Главным, по ее глубокому убеждению, был тезис о фаллосе и семени, рассеянном во Вселенной...

– Господи, ну что он пишет: «хрен с тобой, поди на хрен»? – с искренним раздражением произнесла как-то раз Анастасия Григорьевна, имея в виду сочинения одного изгнанного диссидента. – Что такое хрен? Огородное растение, дурацкий невкусный корень! От этого происходит путаница в мозгу, и ничего больше...

– А как же надо писать, чтобы избежать грубости или порнографии? – заранее смеясь, спросил Сухонин. Беседа происходила на квартире Анастасии Григорьевны, в отсутствие мужа, за бутылкой молдавенеска, за журнальным столиком, под портретом бородатого основоположника.

– Хуй – вот как надо писать! – довершила свой удар Анастасия Григорьевна. – По-твоему, Виталик, вот это тоже порнография? – Она сунула ему под нос парижское издание маркиза де Сада. – Если ты так считаешь, то ты глуп и необразован и в тебе не раскрепощены чувства. Разве не так, скажи?

И Сухонин был вынужден признать, что это сказано не в бровь, а прямо в глаз. И все же, привлеченный и учением основоположника, и умом Анастасии Григорьевны, раскрепощаться чувственно в отношениях с ней он не спешил: как-никак, у нее были две почти взрослые дочери, муж искусствовед, сеть морщинок в притворе лукавых глаз, да и у него уже подрастала Инесса. Эту странную чувственную сдержанность при взаимной умственной тяге они окупали ехидным, с уколами и шуточками, ироническим разговором, который крутился подчас вокруг все того же фаллоса. То и дело в разговор встревала младшая дочка Анастасии Григорьевны, Вероника, смышленная, черноглазая, очень кокетливая, и тогда мать с дочерью пикировались,

переругивались и друг друга задирали. Чаще всего это кончалось тем, что, потускневшая, Анастасия Григорьевна с тяжелым вздохом произносила:

– Ах, боже мой, Виталик, пойдем на улицу, подышим воздухом. Ты не представляешь, как она мне надоела, трещотка.

В темном переулке, подальше от дома, Анастасия Григорьевна требовательно брала Сухонина под руку. При всей своей крупной, развитой фигуре, широкобедрая, она была удивительно легка, подвижна, экспансивна в движениях и словах: ей ничего не стоило, жестикулируя, с размаху ударить его в грудь (удар был сильный, боксерский), так что он поневоле останавливался – и так, стоя, не вникая взглядам удивленных поздних прохожих, они беседовали; впрочем, говорила больше Анастасия Григорьевна – про художника Чекрыгина, про Альбера Камю, про цены на петрушку, про мужа – какой он у нее гениальный и никем не понятый. Этому они строго придерживались: она хвалила Дмитрия Георгиевича, он – Марину; воздавали должное, всячески подчеркивали, что между ними дружба, союз интеллектов, а все остальное от лукавого. Сильно закомплексованный житейскими неудачами, угнетенный тем, что ему так и не удастся до сих пор сорвать хотя бы одну звезду с неба или самому взойти на небосклон, Сухонин многого не замечал. Будь он чуточку проще, с незашоренными глазами, он бы давно заметил, что внушает Анастасии Григорьевне доброе чувство, которое способна испытать женщина на закате лет к молодому человеку, заметил бы, что внес в эту семью легкое, но осязаемое расстройство и нервозность и что вообще ему пора определиться, почему он ходит на эти свидания. Впрочем, встречались они довольно редко, ибо всякий раз, возвращаясь домой, Сухонин нес в душе тягостный груз и постановлял, что впредь не позвонит ей: чувствовал, что его гипнотизируют, душат, чувствовал это, хотя и не осмыслил еще. Всегда – в слове, в жесте, в намерении – Анастасия Григорьевна хоть на секунду, но опережала, брала инициативу на себя, перебивала его, окольцовывала; от вынужденного молчания, от внутренней смуты и скованности он долго не мог избавиться после этих дружеских свиданий. Дмитрий Георгиевич был приветлив с Сухониным и слегка подтрунивал над ним. Однажды, когда, как обычно, вечером после встречи Анастасия Григорьевна провожала его до метро по темным асфальтовым дорожкам (Мараковы жили в Теплом Стане), Дмитрий Георгиевич нагнал их, худощавый, тонкий, как вьюн, любитель утреннего и вечернего бега, в шерстяном спортивном костюме и кепи, и, совершив несколько шуточных витков вокруг, сказал: «Вы как одна большая планета, а я ваш вечный спутник», – сказал и неторопливой разминочной рысью исчез в темноте открытых дворов.

– Его все в нашем районе за чокнутого держат, – сказала Анастасия Григорьевна, крепче прижимаясь к Сухонину и как бы извиняясь перед ним за выходку мужа. – Да и привыкли уже: каждый день бегают. Ведь на пятнадцать лет старше меня, а посмотри, какой живчик. Это у меня то мигрень, то кишечник, то радикулит, а он никогда не болеет.

С течением лет, уже в начале восьмидесятых. Сухонину становилось все тягостнее жить. Он знал, что Анастасия Григорьевна издала книгу трудов основоположника и напечатала несколько статей о нем.. Сухонин звонил и поздравлял с успешным завершением ученых исследований, она пожаловалась на ухищренные происки, которые учинили этому изданию евреи, но о свидании они уже не улавливались: то ли Анастасия Григорьевна поняла, что с ним каши не сварить, то ли еще что. Однажды, в богатой дубленке, покрасневшая с мороза, счастливая отчего-то и по обыкновению экспансивная, она навестила Сухонина на его работе, проболтала полчаса и ушла, провожаемая восхищенными глазами сотрудников. «Какие к тебе шикарные женщины ходят!» – с иронической завистью дружно заявили они...

И вот сейчас, деморализованный невзгодами, безденежьем, глубокой тоской и нравственными страданиями, распростясь с Савиновыми и не пожелав – из гордости – на время поселиться у Тамары, Сухонин вспомнил о своей гетере и в минуту ровного расположения духа позвонил – не посоветует ли чего, не поможет ли. Ответила Вероника, узнала его и сказала, что мама в Рузе, в Доме отдыха. Хотя Сухонин не просил ее об этом, дала ему адрес и сказала, что ехать надо с Белорусского вокзала на электричке. С бутылкой токайского в портфеле наш герой сел на электричку и покатыл за утешением и душеполезной милостью. Крутые берега реки, лощины, овраги, лес, мосты, тропы в лесу, павильоны и корпуса многообразных санаториев, широкое шоссе, заметенное снегом, заснеженные поля, обсаженные деревьями вдоль дороги, седые клубы снежной пыли и выхлопных газов, окутывавшие проходящие машины, – все здесь понравилось ему. В восторге от предпринятого путешествия он вышел из автобуса и свернул, согласно указателю, на узкую бетонированную дорогу, ведущую через лес к Дому отдыха. Сильно свечерело. Сухонин постоял над замерзшим прудом и плотиной, жадно вдыхая фиолетовые сумерки и объемлясь с головы до ног первозданной лестной тишиной. Как было чудно, хорошо; тревога, волнение и счастье смешались в душе! Хотелось любить и плакать, пробираться в лесу по пояс в снегу, жить, слиянному с природой, чутким ухом ловить лесные шорохи, петлять по следам зайца, карасиком плавать в пруду под броней льда. Он не спешил – знал, что разыщет Анастасию Григорьевну, что она обрадуется ему и не спросит, почему он здесь без зова и приглашения. Хотелось еще стоять, еще слушать зачарованную тишину и дышать импрессионистским фиолетовым воздухом...

Анастасия Григорьевна жила в одном из коттеджей, разбросанных в окружении хмурых елей. Из ее окна сквозь занавесь сочился мягкий желтый свет, размытым пятном ложился на волнистый снег. В коридоре Сухонин облизал сухие губы, огляделся: потертые ковровые дорожки, крутые лестницы, устеленные ими, темные подлестничные закоулки. Волнуясь, сдерживая дыхание и гулкое сердце, постучал в дверь и не раздумывая толкнул ее.

Анастасия Григорьевна сидела за столом лицом к окну, спиной к двери, в своей любимой серой вязаной кофте – что-то писала.

– Вот это гость! – звонким голосом произнесла она, поднимаясь со стула. – А я только что паука видела – ну, думаю, будет письмо или гость. Ах, как я рада! Раздевайся, пожалуйста... Как же ты меня нашел?

Она в растерянности перекладывала с кровати на стул и обратно свой халат, сдвигала на край стола рукописи: чувствовалось, что она потрясена и к такому сюрпризу не была готова.

– Найти – дело нехитрое: язык до Киева доведет. Вероника проболталась.

– Ах, какая предательница! Ну, я ей задам, когда вернусь. Ах, как я рада тебя видеть, ты представить себе не можешь! Садись, пожалуйста. У меня беспорядок, я такая лентяйка стала... Садись, садись, дай на тебя посмотреть. Ты возмужал, раздобрел, баритоном обзавелся. Ах, какой ты молодец, что приехал навестить старуху...

– Да полно, Григорьевна...

– Старуха, старуха! И не спорь – старуха. Эти жида меня окончательно доконают. Ты не представляешь, как они ополчаются на меня теперь, после этой книги. О, токайское! В таких

пузатеньких бутылочках? Как это мило с твоей стороны. Нет-нет, ты меня ни от чего не оторвал: я как раз хотела заканчивать свою писанину. Располагайся поудобнее, вот кресло. Кури, если хочешь. Я мигом – слетаю за штопором, и мы устроим маленький лукуллов пир.

Сухонину на минуту стало как-то неопределенно хорошо. Пока Анастасия Григорьевна отсутствовала, он перед зеркалом причесал вихры, сунул нос в ее рукописи, полистал английскую книжку, судя по всему, детектив: на обложке была нарисована девица в очках и шлеме верхом на мотоцикле. То, что Анастасия Григорьевна смещалась и засуетилась при его появлении, Сухонину было понятно (неожиданный визит!), но и беспокоило; им снова овладело какое-то сложное томительное чувство – и даже не чувство, а расположенный на растительном уровне трилобита инстинкт самозащиты, первичный, целиком подсознательный: остановись! остерегись! Так, очевидно, смущается мышь, принюхиваясь к приманке в капкане.

Анастасия Григорьевна очень скоро вернулась, оживленная, триумфальная, во всей своей прежней экспансивности (успела собраться в кулак, оправиться от неожиданности). Сухонин сорвал золотистую фольгу и ввернул штопор в пробку, но, сколько бы ни жилился, вытащить ее не удавалось. Раздраженный, что Анастасия Григорьевна видит, какой он худосочный и слабосильный, он усилием воли вырвал, наконец, пробку, но при этом устье горлышка рассыпалось в стеклянную труху.

– Ах, ах! Ты не порезался, нет? – заботливо наклонилась Анастасия Григорьевна и лечащим жестом взяла его ладони в свои. – Какая каверзная посуда, кто бы мог подумать!.. Ничего: если стекло и попало туда, то оно осело на дне.

– Определенно, это жена не хочет, чтобы мы выпивали, – мрачно проронил Сухонин.

– Она у тебя ревнивая? – спросила Анастасия Григорьевна, искорки смеха мерцали в ее глазах. – Ах, как все это нехорошо. И давно ты от нее ушел? Сними ты, ради бога, пиджак: здесь так жарко натоплено, что я задыхаюсь. Фу, какая жара! Повесь его на стул или брось вон на кровать. – Анастасия Григорьевна по-домашнему поставила рядом две голубые фаянсовые чашки и придвинулась ближе, упершись своими круглыми мощными коленями (почти колоннами) в бедро Сухонина. – Какая прелесть, это вино, как переливается, заметь! Янтарь! Ну, выпьем за встречу после разлуки?..

Сухонин долго, с упорством ученого, рассматривающего в микроскоп неведомую зеленую водоросль, изучал дно своей чашки, нет ли там осколков, потом сквозь сжатые губы процедил приторное зелье внутрь. Анастасия Григорьевна говорила без передыху, по своему обыкновению толкая Сухонина в грудь, будто вызывая на ратоборство, оглаживая его плечи и самозабвенно жестикулируя; потом вдруг задумалась на мгновение, машинально крутя верхнюю пуговицу его рубашки.

– Григорьевна, у меня там крест, – с мрачным юмором брякнул Сухонин. – Так что оставь мою пуговицу в покое.

– Ну-ка, ну-ка!.. – оживилась Анастасия Григорьевна. – Крест, говоришь? – Она моментально расстегнула все пуговицы до пупа и с вождением ощупала его грудь.

– Из волос, – уточнил Сухонин, чувствуя прилив сварливой злобы к этой женщине, которая с непостижимым проворством раздевает его, словно капустный кочан.

В эту минуту дверь отворилась, и вошел сухощавый пожилой человек с сильной проседью в волосах, с крючковатым крупным носом, весь изрезанный глубокими продольными морщинами, с трубкой во рту. Анастасия Григорьевна испуганно запахла полы сухонинской рубашки и обернулась к вошедшему:

– Простите, ради бога, Мигран: я совсем забыла вернуть вам штопор...

– Пользуйтесь на здоровье, он мне не нужен. – Мигран окутался облаком дыма, как вулкан при извержении. – Я зашел совсем по другому поводу. – Он невозмутимо опустил на кровать и вынул трубку изо рта. – Хочу услышать от вас о воскресении мертвых. Помните, днем вы обещали мне прочесть.

– Ах да! Как же, как же, помню! Совсем забыла... Да вы присаживайтесь, устраивайтесь... Или, лучше, знаете что: не перенести ли нам это дело на завтра? На любое удобное для вас время... А впрочем, если хотите, оставайтесь: у нас вино...

– Нет уж, я пойду к себе, – медленно и с расстановкой сказал Мигран. – Хотя... – Он важно пососал трубку. – Время еще не позднее. Я найду к вам, с вашего позволения, через полчаса.

Он нехотя поднялся и вышел.

– Шпион! Лазутчик! – со сдержанной яростью прошипела Анастасия Григорьевна. Она несколько раз взволнованно прошлась по комнате. – Нет, это невыносимо! Это черт знает что! Виталик, нам здесь не дадут спокойно посидеть, это ясно. Одевайся, пойдем на улицу. Такая чудесная погода – мороз, луна. Одевайся, одевайся побыстрее! Давай еще хлопнем по стопке для сугрева – и вперед. Бей в барабан и не бойся, целуй маркитантку звучней!

Анастасия Григорьевна входила в экзальтированный раж.

Сразу за стеной коттеджа канув в беззвучную темень (никакой луны и в помине не было), они лишь по смутной белизне снега и черноте древесных стволов угадывали тропу; снег хрустел под ногами. Анастасия Григорьевна так крепко прижималась к бедру, что Сухонин счел возможным и даже нужным ее обнять: стало совестно своей пассивной роли, но и вымучить хотя бы жалкое подобие душевного влечения он не мог. Молчали. Вдруг Анастасия Григорьевна остановила его знакомым толчком в грудь, и они развернулись друг против друга, увидев свои лица и глаза. Обнявшись, они стояли в темноте, но сквозь толстые дубленки уже не проникало телесное тепло и не согревало. Анастасия Григорьевна прижималась все плотнее и плотнее, но Сухонину неотвязно казалось, что она лишь хочет почувствовать тот самый фаллос, объект многолетней теории, ученых изысканий и практики: такая появилась циничная и неприязненная догадка; и когда Анастасия Григорьевна судорожно, всхлипывая, опять принялась расстегивать пуговицы, запуская холодные ладони все ближе и ближе к открытому телу, Сухонин ощутил то же, прежде – сварливую злобу и гнев.

– Виталик... Виталик, миленький... целуй же свою... маркитантку... – шептала Анастасия Григорьевна, блестя мокрыми глазами, но Сухонин крепко и беспрекословно отвел ее взыскующие ладони и сказал неожиданно осевшим, низким голосом:

– Не надо... не надо этого делать, Григорьевна. Это насилие.

– Виталик, что ты говоришь? Какое насилие? Я не понимаю... – пролепетала Анастасия Григорьевна.

Сухонин понимал, что то, что он чувствует, не передается этим словом «насилие», что ему следовало бы пожалеть и поцеловать Анастасию Григорьевну, но злоба, помимо его воли, нарастала.

– Это насилие! – заорал он, отталкивая ее обеими руками, так что она пошатнулась и чуть не упала в снег. – Что ты ломишься в закрытую дверь, как пьяный извозчик! Чего ты хочешь от меня, чего? Я нищий как... как... как пень! И хватит об этом!

– Зачем е ты приехал? – Анастасия Григорьевна закусилла нижнюю губу и с искажившимся лицом ждала ответа.

Сухонин видел только, каким некрасивым, страдальческим стало ее лицо, но не испытывал сострадания; скорее наоборот – некое удовлетворение.

– Не знаю, – сказал он. – Знаю только, что я приезжал не за этим. Не за этим!

Он повернулся к ней спиной и ускоренно зашагал прочь, прочь, вперед, в открытый зев непроглядной ночи, отступаясь мимо узкой тропы.

– Виталик... – донесся до него слабый оборванный голос.

Он уходил, не помня себя, с мучительной бурей в душе.

В районе ВДНХ снимал квартиру институтский приятель Сухонина – Андрей Новгородцев. Расставшись с Ольгой, ее семейством и прочими случайными женщинами, Сухонин квартировал теперь у него. Новгородцев был худой, поджарый, курчавый еврей с большим жировиком на тыльной стороне ладони. Ему было за тридцать, он вел кружок авиамоделлистов в Доме пионеров и прирабатывал ночным дежурством во вневедомственной охране. «Не печалься, – сказал он. – Мы найдем тебе новую жену, с квартирой, а эта тебя недостойна». Принялся он за это дело с таким же усердием, как и Гренадеров, словно, устроив судьбу Сухонина, он и сам справил бы моральный триумф. Это-то безотчетно и настораживало: Новгородцев в отношении него как бы перенял опекунские полномочия Гренадерова.

Новую жену искали следующим образом. Обычно Новгородцев продавал возле Театра сатиры очередную контрамарку, а затем они направлялись по улице Горького вниз до кафе «Север», чтобы на вырученные деньги немного покутить, а заодно познакомиться с какой-нибудь парой чувих. Чувихи и правда подсаживались за их стол, выпивали их вино и поедали мороженое с ликером, болтали о том о сем, но на квартиру Новгородцева, чтобы закрепить знакомство, чаще всего отказывались ехать и даже номеров своих телефонов не давали. «Одни издержки от этих соплячек», – сердился Новгородцев, но искал, пробовал варианты упорно, и, ведомый, Сухонин послушно следовал за ним.

Однажды им как будто повезло. В кафе «Лира» на Пушкинской площади Новгородцев подцепил сногшибательной красоты юное создание. Новгородцев (он не шутя считал себя

красавцем) подсел к Инне и завел с ней нахальный, задиристый разговор, который вскоре перешел в перебранку и кончился бы разрывом, не вмешайся в эту минуту Сухонин.

– Поедьте с нами, что вам стоит... – проникновенно и почти жалобно попросил он, сглаживая возможное неприятное впечатление от вульгарных, самонадеянных, хвастливых речей Новгородцева.

– Хорошо, – тотчас согласилась Инна, бросив благодарный и отчасти как бы недоуменный взгляд на невзрачного Сухонина: поняла, должно быть, что этот сексуально озабоченный парень в буквальном смысле пропадает. – Только я не одна, с подругой...

– Вот и отлично, – сказал Сухонин. – Попробуйте уговорить и ее. Вы, главное, не пугайтесь, мы люди добропорядочные.

– Что ты раскис как баба, – одернул его Новгородцев, когда Инна спустилась в бар и (было видно отсюда), наклонившись к хрупкой девушке, похожей на стюардессу, в серо-зеленом пиджаке, зашептала ей что-то на ухо. – Не умеешь разговаривать с этими шлюшками, так не берись! Я ее уломал бы и без тебя.

Нина (Сухонина насторожило, что у подружек имена-перевертыши, имена-анаграммы) оказалась в своем роде еще сногшибательнее Инны, но ее красота – Галатеи, прекрасной статуи, изваяния – пугала внутренней какой-то безумной отчаянностью. Трудно точнее выразиться, но эта изящная, подчеркнута строгая в линиях тела, лица, одежды, эта хрустальной хрупкости семнадцатилетняя девушка, вся затаенная и взведенная, как курок пистолета, ради любви способна была, очевидно, на все. У Сухонина даже мелькнуло в голове, что такая красавица в этом пошлом мире долго не протянет. Инна была куда проще, экспансивнее, живее и раскованнее в чувственных проявлениях, женственнее; у нее были черные выющиеся локоны и яркое платье летней бабочки.

Все четверо оделись, вышли на улицу. Завязались сложные, тончайшие, четырехканальные отношения. Инна упрячилась и ехать не хотела, Новгородцев грубо, как со шлюхой в борделе, бранился с ней, Нина молчала и, соучастный с нею, повязанный обоюдной с нею решимостью ехать, стоял рядом и тоже молчал Сухонин. Роли, в общем, распределились: Новгородцев атаковал «шикарную» и для своего возраста уже довольно полную Инну («Люблю полных баб! – как-то раз сказал он. – Есть за что подержаться»), а Сухонин знал, что молчаливая Нина едет (и согласна на любой риск, не задумываясь о последствиях) только ради него. Так что они лишь терпеливо ждали, когда Новгородцев с Инной договорятся. А договориться им было нелегко: пока шли до метро, четырежды останавливались, потому что Инна упрячилась, казалось бы, бесповоротно. В вестибюле метро, возле разменных автоматов. Сухонин понял, что агрессивное поведение Новгородцева провалит всю операцию. И вмешался:

– Что, тебя заело, что ли? – резко и грубо оборвал он Инну. – Как заезженная пластинка все равно: «у меня папа большой начальник, ах, он будет беспокоиться!» У Андрея телефон есть: тебе что – трудно позвонить оттуда?

Инна моментально умиротворилась. Спустились в метро и в тесноте и давке, притиснутые друг к другу хмурым авторитаризированным народом, молча (обнаруживать, кто они такие и куда едут, а, тем более, вновь ссориться при посторонних было бы глупо) доехали до ВДНХ.

Оказавшись в квартире Новгородцева, Инна, как это ни странно, отцу звонить не стала, а переговорила с какой-то подругой, чтобы та, если потом будут спрашивать, подтвердила родителям Инны, что-де Инна задержалась у нее. Нина к изошренному лукавству не прибегла – позвонила домой, матери, но поговорила с ней отчужденно и напоследок сказала, что задержится у друзей. Новгородцев, пока девушки успокаивали родительские сердца, казалось, утратил к ним всякий интерес: включил телевизор и демонстративно сел смотреть футбол – уже понял, что игра с соплячками, с девственницами не стоит свеч, и был зол, как черт. Вел он себя точь-в-точь как Гренадеров утром после новогодней ночи: сердился, хмурился, что не удалось состыковать Сухонина с тем, с кем хотелось, чтобы отпраздновать некий внутренний триумф. Теперь уже пришлось уговаривать не Инну, а Новгородцева. Собрали скудную холостяцкую закуску, откупорили бутылку вина, притушили свет, включили музыку – создали интим; хлопотали в основном Сухонин и Нина.

Слегка убаюканные музыкой, вином, полумраком, интимом, Новгородцев и Инна пошли танцевать, но и танцую ссорились, спорили. Сухонин сидел рядом с Ниной, замкнутой и жаждущей любви и приветов, и не ведал, о чем с ней говорить, а когда узнал, что она старшая в семье, где десять детей, напрочь расконтактировался – сидели, как две мумии, как два истукана, и молчали; это было мучительно и несовместимо с той нездешней красотой, которой Нина мерцала, как звезда в ночном небе.

Дальнейшее произошло быстро, в считанные минуты, почти молниеносно. Сухонин, как только Инна с Новгородцевым, хотя музыка еще звучала, расстались (готовились это сделать), подошел к Инне, влекомый какой-то чудесной силой, обнял ее, чтобы танцевать, и... понял, что – всё. Всё! Погиб! Пропал!! Вся душа его излилась навстречу ей небывалой, сладостной истомой, бурным, неуправляемым желанием. Хотелось, ни секунды не мешкая, нести ее на кровать, жгучими и нежнейшими прикосновениями совлекать одежды, зарываться с головой в благоуханные черные локоны... И как только он обнял Инну и э т о их обоих обволокло, Нина резко встала из-за стола, опрокинув рюмку, бросилась в прихожую, топчя растянутый по полу телефонный шнур, и стала одеваться. Сухонин еще успел заметить, как растерялся Новгородцев, почувствовать, что Инна, уже как бы склеенная с ним одну плоть, слабо, точно в шоке, точно пораженная насмерть какой-то догадкой, отталкивает его, ускользает и, как сомнамбула, уходит вслед за Ниной. Сухонин заметался по комнате, точно загарпуненный кит, бросился к одной, к другой, потом, чувствуя, что удержать их не сможет, – к журнальному столику, схватил случайный лист бумаги, написал телефон Новгородцева, уже в дверях, готовых захлопнуться, сунул бумажку Инне, крикнул обреченно, уже раздваиваясь, к обеим: «Позвоните! Слышите!? Обязательно!...» – и успел заметить, что Инна зачем-то передала бумажку Нине... Они стояли на площадке, ждали, он во все глаза смотрел на них из распахнутой двери.

Поднялась кабина лифта. Они вошли.

Ни назавтра, ни через неделю, ни пока жил он у Новгородцева, никогда, уже никогда Инна не позвонила ему.

– Ты всегда всё путаешь! – раздраженно кричал на него Новгородцев. – Я же тебе ясно сказал: Инна – моя! Моя, понимаешь? Она в моем вкусе... А твоя была та, другая, в пиджаке... И что ты за человек? Вечно путаешь все мои расчеты...

Итак, развод, обмен квартиры, поиски новой жены – все эти достохвальные начинания не завершались; их завершение приходилось откладывать, и эта отсрочка угнетала: не терпе-

лось решить все свои проблемы сразу. Сухонин понемногу утрачивал свое «я», цельное, здоровое, способное активно жить среди людей.

Новгородцев не оставлял своих попечительских намерений. Скуповатый и прижимистый, он входил даже в финансовые издержки, лишь бы познакомить друга с кандидаткой на пост новой жены. Сухонина не покидало чувство, что Новгородцев состязается с ним в беге на длинную дистанцию, соразмеряет свои силы с его силами, пытается его дезориентировать. Это чувство, однако, еще не оформилось в убеждение, еще не определилось настолько, чтобы в их отношениях наметилось недоверие, обоюдная сдержанность; во всяком случае Сухонин полностью доверял своему предприимчивому другу, целиком и беспомощно на него полагался, искренне надеялся благодаря ему найти женщину, которая годилась бы в заместительницы Марины. Даже готовность, неистовость, с которой Новгородцев взялся за это дело, свидетельствовала в его пользу; его усердие нельзя было расценить иначе, как дружеское, соучастное, бескорыстное. Лишенный собственного волеизъявления, Сухонин следовал за Новгородцевым как нитка за иголкой, слушался его во всем; он соседствовал с ним, даже, если угодно, паразитировал на нем, приклеивался, как прилипала, к его мощному (не телесно, а в смысле энергии) движущемуся корпусу. Согласившись, чтобы ему покровительствовали, он лишь терпеливо ждал и кротко переносил выволочки и головомойки, если их затея в очередной раз заканчивалась провалом.

В тот вечер, когда они завлекли к себе Светлану (впрочем, она согласилась поехать весьма охотно, и даже было похоже, что это она их тащит за собой), Новгородцев отвел Сухонина в сторонку и сказал:

– Значит, так: ты с нами немного выпей и поезжай куда хочешь. Я в нее влюбился! Я сам на ней, может быть, женюсь. Так что оставь нас вдвоем, понял?

Светлана действительно была во вкусе Новгородцева – полная, белокурая, дородная, как купчиха: у нее было «за что подержаться»; казалось даже несколько странным, что щуплый Новгородцев способен обработать, полюбить, добиться взаимности от этой невозмутимой, избыточно материальной женщины. Едва воцарившись, воплотясь в квартире, она уверенно прошествовала на кухню – стряпать (присваивать, оживотворять столь же реально плотские, как она сама, кухонные предметы). Эта-то готовность накормить, ублажить мужское чрево и сразила Новгородцева наповал. Сухонин почувствовал, что Новгородцев аж дрожит от нетерпеливого желания уединиться со Светланой, оплодотворить ее, вступить с нею в реакцию взаимодействия, как летучая дожденосная тучка с плодородной, но давно не увлажнявшейся землей. Сам он не испытывал к Светлане никаких чувств, кроме, может быть, неприязненного любопытства, возбужденного другом еще там, в кафе, когда они вышли покурить: Новгородцев, уже ажитированный, как-то странно взглянув на Сухонина, сказал, что «с этой возможен группен-секс». Да и то, что Сухонин узнал о Светлане от нее, никак не расположило его к ней: у нее был муж (в длительной командировке), пятилетняя дочь (у свекрови), дача и машина. Ее спокойное хозяйничанье в чужой квартире, ее сытое спокойное беломраморное лицо, ее плавные завершающие движения, ее невозмутимая готовность скоротать вечер с двумя мужчинами за бутылкой вина (муж в командировке, дочь у свекрови) – все это большей частью оставляло равнодушным, а меньшей частью – отталкивало. Поэтому, когда Новгородцев попросил его уехать, он охотно на это согласился и, пока они сидели за столом, придумывал, куда податься, – на вокзал или к Савиновым; решил, что лучше на вокзал.

И вот наступил момент, когда Новгородцев из поведения и ужимок друга понял, что пора уезжать: Новгородцев (он хмелел удивительно быстро, от дозы с наперсток) уже лапал Светлану и, казалось, встречал благосклонный ответ.

– Ну, ладно, надо ехать, – сказал Сухонин равнодушно, как человек, которого ждет жена, спокойный отдых, чистая постель, – нечто преимущественное по сравнению с тем, чем увлечены они. – Засиделся я у вас.

– Мне тоже пора, – неожиданно сказала Светлана. Новгородцев на минуту опешил от такого поворота событий, потому что, действительно, всё было уже на мази: Светлана – и это казалось самоочевидным – была не из тех соплячек, не из тех отроковиц, которые еще боятся оставаться наедине с мужчиной; ей, зрелой тридцатилетней женщине, не грозило, она знала, что почем и на что шла; более того, Новгородцев ей нравился. Впрочем, в то, что она порядочная, тоже можно было поверить, даже, пожалуй, следовало поверить. Новгородцев жаждал единовластия, а не групповой перекрестной неразберихи, а Сухонину «групповуха» и сама Светлана, на нее согласная, внушали отвращение, смешанное с выжидательным любопытством. Трое, они опять, казалось, играли какую-то соприродную ситуацию, кого-то дублировали в том первичном семейном союзе, в котором есть женщина и двое мужчин – один активный, сильный (может быть, муж?), а другой пассивный, подавленный, закомплексованный (может быть, сын?). И вот, встретаясь в кафе при таком изначальном распределении ролей, они приехали сюда, чтобы их исполнить, каждый свою.

– Света, мне действительно надо ехать: меня ждут, – довольно жестко сказал Сухонин, еще раз подчеркивая то, что Новгородцев уже успел выболтать, отстраняя возможного соперника, а именно: что он, Сухонин, женат, что у него дочка и т. д. (а откуда следовало, что сам Новгородцев свободен и не прочь). – А вам ничто не мешает еще посидеть: время детское...

– Нет, мне тоже пора...

– Но у вас ведь вино еще недопито, музыка... – настаивал Сухонин еще решительнее: Светлана становилась ему неприятна уже не отчасти, а на девять десятых. – Да и вообще, такого человека, как Андрей, моно встретить только раз в жизни.

Новгородцев растерянно улыбался и следил за их препирательством. На какое-то мгновение Сухонину стало даже жаль его, и он подумал, что если еще посидеть с ними, то, может быть, они договорятся, и тогда он, окончательно лишний, незаметно ускользнет.

– Я бы, конечно, посидел еще с вами, но...

– Нет, пора ехать, – бесповоротно произнесла Светлана, доставая из шкафа свою богатую леопардовую шубу.

Сухонин ощутил острое раздражение, потому что эта выхоленная праздная леди спутала не только планы Новгородцева, но и его собственные: не мог же он сказать, что ему негде ночевать; приходилось доигрывать роль семейного обеспеченного человека, ехать с этой дурой черт знает куда да еще, может быть, и провожать. Но и отступать, отказываться от роли было уже поздно. Насколько бы деликатно, насколько бы своевременно ни попытался он самоустраниться, сильному, самоуверенному Новгородцеву опять предпочли его, надломленного, несамостоятельного, нуждающегося в поддержке, дошедшего до крайности.

Обиженный, Новгородцев закурил и гордо отвернулся, чтобы не видеть, как они одеваются, и дать им понять, что стойко перенесет эту обиду. Сухонин также пребывал в некотором замешательстве, потому что приходилось спешно корректировать свои намерения: из застойной болтовни он успел узнать, что в своей квартире Светлана сейчас проживает одна и, может быть, предпочтительней Новгородцеву, он должен поехать к ней. Он и хотел, и боялся этого; без Новгородцева, отлепившись от него, он начисто лишился способности принимать решения, действовать. Словно чувствуя его беспомощность, Светлана во всю дорогу до метро даже не взглянула ни разу прямо, не потребовала никакого решения за или против, а лишь трогательно и понурясь шла рядом, чтобы он смог привыкнуть к ней. В метро Сухонина охватила настоящая паника – ужас перед выбором: он то уговаривал себя, что завести любовницу ему сейчас просто необходимо и все у него получится, то чувствовал какой-то животный страх, смешанный с отвращением. Он сходил с ума, в простоте выискивая нюансы. Будоражила и настораживала, призывала к бдительности одна сушья, казалось бы, безделица: еще в кафе, когда они наперебой атаковали Светлану, она сказала, что больше всего на свете любит в свободное время «стричь мужчин»; и вот теперь Сухонина мучило, в каком смысле – в прямом или в переносном – она любит стричь мужчин. Она сказала, что это ее хобби, и подразумевала, конечно, те же услуги, которые оказывают в любой парикмахерской, но Сухонин, уже расстроенный (между собой, Новгородцевым и Светланой), упорно думал, что она имела ввиду постриг как церковный обряд или, что всего вероятнее, занятие проституток – выколачивать деньги из клиентов. Но в таком случае неминуемо обнаружится, что денег у него нет. Он уже разучался понимать людей, дробил простое на сложности. Однако главное все же не в этом; главное в том, что это пышное тело и алебастровое лицо пугали: он чувствовал себя как кролик, загипнотизированный удавом, который вот сейчас, сию минуту приступит к заглатыванию. От Светланы исходила таинственная властная угроза его жизни; если бы не редкие полноточные пассажиры в вагоне, Сухонин, казалось, зашелся бы в истерике – настолько темной, смертоносной была эта угроза, эта женская сила, и настолько расшатана его психика. А между тем они уже проехали центр города; если он не намерен провожать Светлану, ни тем более оставаться у нее, давно, еще на кольцевой линии, следовало выйти. Но он ехал, из последних сил уговаривал себя, что непременно надо проводить, крепился, боролся со страхами. Однако за перегон до станции, где должна была выйти Светлана, этот страх перерос в ужас; он инстинктивно почувствовал, что если сию же секунду не опомнится, если не очнется от этого жуткого гипноза, если не предпримет последнюю отчаянную попытку спастись, то ему не миновать смерти. Преодолевая странную оторопь, преодолевая всеми силами души и обрывая крепительные узы, которыми эта женщина, пока ехали, привязала его к себе, он, когда поезд остановился и двери распахнулись, чуть шевельнулся – и Светлана беспрекословно, как надевают петлю на шею приговоренного, цепко ухватила его за руку: мол, сиди и не рыпайся, ты – мой. И этого оказалось достаточно: Сухонин почувствовал приступ вулканической злобы, вырвал руку (именно вырвал, со злобой силой и ненавистью, в борьбе) и устремился к дверям, еще открытым, еще спасительным...

– Куда ты?! – догнал его умоляющий голос Светланы. – Наша – следующая...

Он еще успел прорваться, а перед Светланой, которая бросилась вслед, дверь захлопнулась. Поезд тронулся. Сухонин обернулся. Стоя перед дверью, Светлана знаками, как бы набирая номер телефона, показывала, чтобы он позвонил... Он резко, неприязненно отвернулся и быстро пошел по пустому гулкому перрону, минуя мерную череду гранитных колонн, прочь отсюда и совершенно забыв, что для того чтобы вернуться обратно, нужно лишь перейти на другую сторону платформы.

В нашей психике много загадочного. Почему Сухонин боялся женщин, он не смог бы ответить. Он уже, точнее – еще не понимал, что от нормальных людей, в том числе и женщин, нет и не может исходить угроза его жизни, а что страх – это его собственный внутренний страх много грешившего человека перед наказанием за грехи. Его основным и упорнейшим грехом был многолетний онанизм, который ставил его в униженное и зависимое положение перед женщинами, да и перед мужчинами тоже. Дурная привычка угнетала психику, непрерывно травмировала душу. Он отчаянно пытался, но не мог доступными внутренними средствами преодолеть ее, победить, отмыться от грязных наслоений, почувствовать себя здоровым, бодрым, активным человеком, успешно соревнующимся с другими. Порнография Гренадерова и психотерапевтический укол, смешавшийся с алкоголем, привели к тому, что Сухонин тронулся умом: начались отчетливо выраженные аффектированные манифестации сознания. Он жил теперь, как в чаду, все глубже погружаясь в пучину бессознательного...

Хотя они с Новгородцевым расстались (Сухонин снял квартиру), их взаимные отношения не были определены окончательно: их дружба-сцепка, дружба-симбиоз дала трещину после многократных примерок к женщинам, но еще чудом держалась, еще не развалилась; у обоих сохранялась потребность в дальнейшем общении, как у надзирателя с заключенным, пока приговор без обжалования не разлучит их навсегда. И выясняли они не столько личностные поверхностные взаимоотношения, сколько архетип этих взаимоотношений, некую древнюю генетическую доминанту. Что не столь различны вода и камень, лед и пламень, как они между собой, – об этом они, в общем, догадывались, знали; то целое, то, что объединяет, спаивает противоположности, объединяло и их, но, тридцатилетние, возмужалые, обособляющиеся (а в этом зрелом возрасте мужчины, по-видимому, обособляются, способные обходиться без дружеских помочей), они предприняли куда более глубокое, с т р у к т у р н о е исследование (расследование) друг друга – с помощью женщины, с помощью той серной кислоты, которая разлагает на первоэлементы любую мужскую структуру...

В тот вечер Сухонин ощутил настойчивый внутренний толчок, смутную потребность позвонить Новгородцеву; Это был трудно поддающийся анализу внутренний позыв – созвониться, связаться с Новгородцевым, именно в ту минуту, ни раньше, ни позже, потому что там, у него, создались условия, сложилась обстановка, в которой недостает его, Сухонина. Странно предполагать, что э т о возможно на расстоянии, но он почти физиологически ощутил, что те условия и та обстановка с силой засасывают его, что он там просто необходим для полной укомплектации фигур в игре, в действе, для гармонизации самой этой игры. Это желание было тем более странно еще и потому, что Сухонин утрачивал с каждым днем всякий интерес к любому действию, к любому перемещению в пространстве, зная наперед, что от суеты и новых местоположений и комбинаций его участь не облегчится.

Когда Новгородцев снял трубку, Сухонин услышал хохот и крики и мигом понял, что на квартире друга собралась веселая компания

– Да тише вы! Ничего не слышно... – сказал Новгородцев гостям и только потом произнес дежурное: – Алло!

– У тебя пир горой, а меня ты не счел нужным пригласить? – с упреком спросил Сухонин.

На какое-то мгновение Новгородцев замялся – то ли от внешнего шума, то ли от неожиданности и вопроса, поставленного так жестко, в лоб; во всяком случае, Сухонин понял, что

Новгородцев даже не вспоминал о нем, совершенно забыл и что его звонок – как гром среди ясного неба.

– Да так уж получилось, ты знаешь... – мямлил Новгородцев. – Миша Артюхов нагрянул, девчонок из института привел... Ну, и сидим...

– Давно сидите-то?

– Не очень...

– Успею я подъехать?

– А ты хочешь? Ведь они студентки еще, не москвички... – Новгородцев явно не хотел, чтобы Сухонин приезжал. – Для тебя они интереса никакого не представляют...

– А сидеть здесь наедине с тараканами, думаешь, интереснее?

– Ну, смотри сам, – уклончиво сказал Новгородцев.

– Через полчаса приеду, – закончил Сухонин и положил трубку. С полминуты стоял возле телефонного аппарата в задумчивости, пытаясь доосознать, почему Новгородцев на сей раз так нелюбезен, но потом стряхнул эту оторопь, оделся и выскочил на улицу – в волнении и со смешанными чувствами человека, с которым сегодня произойдет нечто важное, необходимое и странное: не то перемена к лучшему, не то приоткроется перспектива пути, не то прозвучит сильный аккорд в сумбурной симфонии его нового жизнеустройства, что-то такое, после чего многое прояснится. И он спешил к этому неизведанному повороту дороги в приподнятом настроении первооткрывателя. Если даже ничего не произойдет – ну, что ж: он просто посидит посреди живых людей, причастится к их неподдельному веселью; для него, которого поглощает мрак безысходности, и такое причастие много значит: оно обнадеживает, спасает, рассеивает одиночество и, наконец, позволяет просто-напросто забыться на часок-другой не хуже любого фильма или эстрадного представления. А такой возможностью Сухонин, теперь уже изолированный от людей в снятой квартире, по-прежнему инстинктивно дорожил...

Новгородцев представил его гостям. Уже сильно подшофе, он с комплиментарной избыточностью, в которой прослеживалось нечто национальное (тон, стремление споспешествовать-примазаться), назвал его своим другом и умнейшим, талантливейшим человеком, о котором еще услышат. Сухонин остался равнодушен к похвалам, но не возразил, чтобы не провоцировать новых; и действительно, поток красноречия у Новгородцева вскоре иссяк. Гости – высокий бородатый Миша Артюхов и три невзрачных девицы-студентки – также не произвели того радостного впечатления, на которое он рассчитывал, торопясь поспеть на их пирушку. Сухонин даже подумал, что он неисправимый идеалист, мечтатель и что жизнь как она есть – проще и прозаичнее; и он приготовился к тому, что ночью вместе с Новгородцевым и Артюховым пойдет провожать девушек до общежития, а потом пешедралом и один вернется в свою конуру; и ничего не произойдет, и никому до него нет никакого дела: всем наплевать, что он страдалец, что ждет от людей утешения и милости, что одинок и сходит с ума от одиночества. Девушек было трое (странно, что Новгородцев об этом факте умолчал: ведь чтобы составить три пары, не хватало как раз его, Сухонина); все трое были до того невзрачны, что Сухонин скис на какое-то время, замолк и лишь присматривался, приценивался к ним, как большой шакал – к пиршеству здоровых: не удастся ли и ему стащить кусок падали? Нет, союза

и попарного распределения ролей явно не происходило и произойти не могло: две черноволосых горянки из дагестанских аулов веселились, конечно, от души и на мужчин смотрели влюбленными восточными глазами, но эти влюбленность и очарованность были следствием сурового воспитания, при котором женщина обязана мужчине уважать и беспрекословно ему повиноваться. Чувствовалось, что эти двое – славные, нежные, наивные и доверчивые скромницы, которые и шагу самостоятельно не сделают, если на это не последует милостивого разрешения мужчин; их было двое, но вместе, на одно лицо, и которая из них Дамира, а которая Зарема, и вообще – так ли их зовут, не с пушкинскими ли героинями он их спутал, – за это Сухонин не мог бы поручиться. Чистые, восторженные первокурсницы, для которых Москва и все московское еще прельстительны и неизведанны, они жили своей филологией и даже не утратили еще той первобытной свежести и пугливой отзывчивости, которая так свойственна людям из затерянных, обособленных селений; еще вчера они ходили по каменистым тропам, вдыхали щекочущий и прохладительный, как пепси-кола, горный воздух, а сегодня им определено учиться в Москве, и это занятие им радостно и желанно, как младенцу – первые шаги. Их особой благосклонностью пользовался Миша Артюхов; доброжелательный, учтивый и, аналогично с ними, чистый нравственно и плотью (чего нельзя было сказать ни о Новгородцеве, сластолюбце и опытном оболъстителе, у которого еще в институте были любовницы и утехи, ни тем более о Сухонине, опутанном душевными аномалиями и одержимом многообразными похотями и вывихами), так вот: чистый Миша беседовал со свежими дагестанками о поэзии, и это у него так ловко, так непринужденно получалось, что он занимал их обеих. Сухонин молчал и присматривался, Новгородцев курил, стряхивая пепел на стол мимо пепельницы (его развезло, так что он уже с трудом координировал движения), а рядом с ним на диване сидела и тоже курила Марите – латышка или литовка, словом, откуда-то из Прибалтики – бледная, анемичная, с продолговатым варяжским лицом, пепельно-русыми, белесыми волосами, прямо ниспадавшими на плечи, и водянистыми глазами. Строго, почти надменно она слушала, что ей говорит Новгородцев, и время от времени тонкой рукой отводила прядь волос со лба. Она составляла прямой контраст с дагестанками; в ее глазах читалась скука пополам с утомлением; чувствовалось, что она тратит много сил, борясь с опьянением и все больше деревенея от этих усилий, что музыка, свет, дым, соседки и Новгородцев раздражают ее, как усталую мать – слишком непоседливые дети. Сухонину стало не по себе, тревожно и любопытно, когда он наткнулся на ее очень прямой, равнодушный и оценочный взгляд: так, должно быть, служители музея рассматривают в запаснике старую, залежалую картину, достойна она занять место в экспозиции или нет. Марите отвернулась, и Сухонин понял, что его забраковали. Ему стало скучно и захотелось зевнуть, потому что выбора больше не было: ни Новгородцев, знакомый до житейских мелочей, ни добродушный, галантный и в галантности рассеянный Миша Артюхов, ни очарованные им, непосредственные дагестанки, – никто из них в свою очередь не представлял интереса для него. Вечер пропал даром, угасал. Новгородцев и Марите пошли танцевать, остальные сидели за столом и оживленно беседовали, Сухонин, устроившись в уголке дивана с пепельницей на коленях, беспокойно курил. Следовало хоть потанцевать, что ли, на сон грядущий. И он пригласил Марите.

С вежливой вынужденной улыбкой на бледных губах (дескать, что мне с вами делать, юноша, – у вас одни ребяческие забавы на уме) Марите положила ему тонкие руки на плечи, и Сухонин почувствовал, что именно благодаря умудренной опытом, высшей простоте эта женщина легко присваивается, легко и вся, полностью, без сопротивления и страха; в танце он почувствовал ту ее доверчивость и доверительность, которая не от робости, а от опыта и через него достигается. Ни полслова они не сказали друг другу, но вот Марите подняла на него большие пристальные серьезные н е д о у м е н н ы е глаза, которые уже заволакивались чувственной мутью, как небо слоистыми облаками, прижалась крепче и ближе, и Сухонин ощутил, что

сердце бьется в горле, а тело и мозг источают встречный сухой знойный жар. Потом Марите мягко, как кошка, которая прыгает на стул, оттолкнула Сухонина, стремительно прошла в ванную комнату и заперлась.

– Ты понял? Ты в с ё понял?! – с диким видом и круглыми глазами подскочил к нему и зашептал Новгородцев.

Сухонин видел, как Миша Артюхов, обняв обеих дагестанок, прокружился по комнате, точно тройник, подключенный к розетке, или точно атом, захвативший два чужеродных электрона, и так, кружась, втроем они вывалились из квартиры – без видимого насильственного вынуждения, а как бы вытекающая из ситуации, отслаиваясь от ее спирального завихрения; видел, как Новгородцев метнулся запереть за ними дверь и погасить свет, едва Марите, нагая и стройная, вошла в комнату; видел еще себя, как бы со стороны и сверху, усердно труждающегося рядом со щуплым Новгородцевым, и это соседство казалось ему странным, неприятным, фантазмагорическим... Не то, чтобы он чувствовал, что раздваивается, – нет: он четко помнил себя, но остраненно, оценочным взглядом сверху сквозь тяжелый угар и опьянение; он опять, уже напрямую, соревновался с Новгородцевым, но с ощущением чуждости всего происходящего...

Опомнившись, протрезвевшие, сконфуженные, они сидели на смятом одеяле, как пляжники на теплом песке, и все трое курили. Сухонин не знал, куда девать свои острые локти и колени, неуклюжий, как штангенциркуль, как полевой кузнечик на гладком месте; прикосновения к Марите и особенно к Новгородцеву были ему противны. Казалось, все трое в стыдобе и в замешательстве недоумевали, как это их угораздило, почему это произошло и как все это понимать. Сухонин и Новгородцев стражами-ревнителями сидели бок о бок с Марите, как привязанные, как кукушата в ласточкином гнезде, и тягостно молчали. Марите нарушила молчание первая и поспешно: поперхнувшись дымом, закашлялась и почти одновременно рассмеялась хриплым прокуренным неприятным смехом, точно прокаркала, и Сухонин вместо желаемой теплоты ощутил укол досады: т а к могла смеяться только шлюха (или обычная нормальная женщина, с которой по сверхъестественным причинам произошло нечто из ряда вон выходящее и которая вынуждена, под действием презрения, к ней испытываемого, как-нибудь оправдываться, а оправдаться-то и нечем: такая вышла чушь собачья).

– У меня, наверно, двойня родится... Или тройня, – сказала она, объясняя причину своего странного смеха, показавшегося Сухонину циничным. – Я ведь беременна, и аборт делать поздно. – Марите вдавалась в детали, которые были, по внутреннему мнению Сухонина, и излишними, и грязными. – И уж конечно будет мальчик... Ах, мальчики вы мои! – Она неожиданно по-матерински ласково потрепала Новгородцева и Сухонина, и они действительно на какое-то мгновение почувствовали себя ее детьми. – Тебе надо побриться: всю меня исколот, – обратилась она к Новгородцеву. – Вот культурный человек – бери пример с него.

Сухонину такое противопоставление не было неприятно. Ровным и от того уже более пристойным тоном Марите рассказала, что уже месяца два-три не может ни на что решиться: то ли ей выйти замуж за парня, от которого забеременела, то ли родить и стать матерью-одиночкой, то ли попытаться все же сделать аборт, хотя это страшно, то ли вообще... Тут она многозначительно замолчала. Но Сухонин понял, что и о самоубийстве она действительно думала.

Потом Марите ушла в ванную Робкая привязанность к ней, намеченная ею трепетная надежда на предпочтение перед Новгородцевым рвалась, утрачивалась. Вместо положенной

усталости и сонливости нарастало истерическое напряжение – перенапряжение, и он, как малыш за материнским подолом, пошел вслед за Марите...

– Ляжешь на диване, – злобно сказал ему Новгородцев. Сухонин недружелюбно подчинился; его колотила нервная дрожь переутомления, когда он заворачивался в колкую диванную накидку вместо одеяла и укладывал голову на жестком валике вместо подушки. Новгородцев и Марите легли на кровати. Сознание Сухонина мерцало, и тело напрягалось точь-в-точь как тогда, у Фомаиды Феодосьевны Гренадеровой в новогоднюю ночь; впрочем, ни от Новгородцева, ни от Марите не исходила опасность, угроза жизни или что-нибудь в этом роде: он чувствовал, – и это чуть-чуть утешало, – что выиграл состязание у Новгородцева, но то, как властно и непререкаемо тот присвоил Марите на всю остальную ночь, то, как покорна она с этим согласилась, вызывало в его душе кроткую, смиряющуюся ревность и подспудный страх. Его именно отшвырнули, отстранили, прогнали не по-человечески – по-животному, как заведено в животном мире, как более сильный самец прогоняет слабого, трусливого. И всю ночь, дремотно мерцая сознанием, он пребывал в ревнивом и покорном ожидании, что Новгородцев овладеет Марите в одиночку. Но этого не произошло.

Совершенно изнеможенный и натянутый, как тетива, Сухонин, когда убедился, что не заснет, когда за окном пролязгал створками первый предутренний автобус, когда стало ясно, что Новгородцев его, может быть, ненавидит и хочет, чтобы он ушел, заворочался, сделав вид, что крепко спал и просыпается, встал, потихоньку, но не торопясь оделся – и ушел. Хотелось пообстоятельнее проститься с Марите (получить позволение на будущее свидание?). но она лежала у стены, отгороженная бдительным Новгородцевым, и пришлось уйти б е з н а д е ж д ы. с тоской в сердце, одному на пронизывающем ознобном утреннем ветру. Его трясло, зуб не попадал на зуб, и как тогда, в пустом трамвае с Андреем Петровичем, он уносил в душе одиночество без женского соучастия, без отклика – потому что на его пути вновь встал стойкий и сильный мужчина. Это так угнетало, заталкивало в такую безысходную яму, что лучше бы вовсе не родиться на свет!..

Еще неделю он тосковал по Марите, но Новгородцев не знал – или не хотел давать – ни ее телефона, ни адреса; вел он себя при этом двусмысленно, намекая, что Марите провела с ним весь следующий день, но Сухонин спокойным чутьем улавливал, что он врёт и что, вероятнее всего, они с Марите вскоре после его ухода разругались и расстались навсегда. Сухонину не было ни больно, ни обидно оттого, что нельзя вновь увидеть Марите, потому что через неделю в этом уже не было необходимости: эта странная встреча позволила ему почувствовать все, что он от нее ждал: Марите была и осталась чужой, случайной, лишь на один вечер состыкованная с ним для обоюдного вчувствования в некие основоположные закономерности жизни; друг другу они были нужны и даже необходимы лишь на краткий миг: пересеклись, н е ч т о важное поняли или почувяли – и разбежались каждый туда, куда увлекала их судьба. Сухонина судьба увлекала в яму, в пропасть, к тяжелейшим душевным испытаниям.

Наступила весна. Благоухая, превозмогая бензиновую вонь, распускались нежно-зеленые клейкие листочки на тополях; все чаще случались ясные голубые дни с веселым солнцем, которое ослепительно блестело в лужах. Играли приветливые ветры с полей.

Сухонин жил теперь в Медведкове, в просторном двенадцатиэтажном доме, развернутом вдоль шоссе, с видом на поле и рощу. Новгородцеву, как уже упоминалось. Надоело его соседство и нахлебничество; Сухонин развесил на столбах и на стенах домов десятка два объявлений и снял эту квартиру. Хозяин, седой, живой, хромой крупный мужчина, лет под шесть-

десять, терапевт, работавший в поликлинике на Красной Пресне, уезжал на дачу куда-то под Малоярославец. С ним уезжала его жена, особа вдвое его моложе, с двумя шустрými мальчишками семи и девяти лет и со своими престарелыми родителями: всем им требовался свежий дачный воздух и свежие впечатления. Вся их трехкомнатная квартира была забита строительными материалами – досками, рейками, паркетом, рубероидом. Сухонин, уже поселившись в отведенной для него голой комнате со старым пружинным диваном и шатким столом, помогал в один из холодных, со снегом, субботних вечеров перетаскивать все это дачное добро в грузовую машину: носил кошелки и корзинки с утварью, мешки с керамической плиткой, свернутые в рулон картины и прочее, и прочее. Машину загрузили сполна, и дачники уехали. Хозяйка потом еще появлялась время от времени, а хозяин не заглядывал. Сошлись на том, что Сухонин будет платить им пятьдесят рублей в месяц.

Александр Антонович Чувакин, шумный, с большими руками и большим животом, на досуге снимал копии с картин. В комнате Сухонина (две другие хозяева заперли) висела большая копия с портрета Пушкина работы Кипренского, картина, изображающая весенний паводок, деревья, торчащие из воды, до основания затопленный дом и низкие торопливые серые облака, бегущие над водным простором; была еще одна картина – мадонна с младенцем на руках и херувимом за спиной. В коридоре на стенах висели еще две большие копии – на одной из них Иван Грозный убивал своего сына, а потом, вытаращив страшные белки, обнимал его, зажимая окровавленной рукой смертельную рану; на другой был изображен какой-то храм, мальчик и девочка в пламени огня и в кольце змей, а кругом – толпа странных людей в дорогих облачениях. Эти две последние картины наводили на мрачные мысли: метафизически думалось о том, что вот-де и в творчестве подтверждаются смутные догадки о темных силах, владеющих людьми. На царя-сыноубийцу он смотреть не мог без мистического ужаса; копия была выполнена аляповато, утрированно, в багряных тонах, и вся картина казалась заляпанной кровью.

С хозяйкой у Сухонина установились церемонные, натянутые отношения. Она навещала его без видимой причины и всегда одна, расхаживала по квартире в толстом сером халате, без позволения постирала его рубашки и одну из них, желтую, заштопала (протерся воротник, и она перешила его с лицевой стороны на изнаночную), – все эти знаки внимания смущали и раздражали. Ему даже хотелось иногда наорать на нее, напомнить ей, что у нее маленькие дети, пожилой супруг и старики родители, которые требуют заботы. С ее мальчишками, Ваней и Васей, он познакомился в первый же день, когда поселился. Вооруженные игрушечными пистолетами, они устроили в его комнате настоящий погром. Ваня был воинственный, жизнерадостный, веселый мальчик (отцовский любимец, который, завидев отца, с радостным кличем бросался ему на шею); он расстреливал из пистолета стрелами-присосками мадонну и Пушкина, беспрестанно озорничал и от избытка энергии буквально лез на стену. Вася, напротив, был тихий бледный ребенок, вкрадчивый маменькин сынок, который, хотя тое пулял из пистолетика, но не стол метко и шумно; он привязался к Сухонину и, соревнуясь с братом в стрельбе и проигрывая, всякий раз вымогал, выклянчивал похвалу. Сухонин поощрял его, но не мог отделаться от неприятного чувства, что робкий Вася – точная копия его самого в детстве. Ему было тягостно с мальчишками, их шумливость его угнетала, по, пока они не уехали, он играл с ними и терпел их назойливые выходки.

Наконец-то он уединился. И что же? Он не создал ни симфонию, ни поэму, ни живописное полотно. Было похоже, что не люди ему, а он сам себе мешал, а от себя убежать было невозможно. В первое время он еще обследовал квартиру и тем отвлекался, но потом стало мутно. Жене он не звонил, и она ему тоже. В яркие пасхальные дни он повадился уходить

в березовую рощу – шел через поле по широкой твердой тропе, вступал под ласковый полог рощи, бродил по ее затейливым тропам среди отдыхающих горожан, смотрел, как гугукают младенцы в колясках с открытым верхом, как полураздетые парни и девушки пасуются в мяч, как жгут оранжевые прозрачные костры, но сам во всем этом не участвовал – ходил, наблюдал. Роща в эти солнечные дни была буквально нашпигована людьми – выезжали целыми семьями, пили пиво, играли в бадминтон, кое-где пели. Набродившись до одури, вкусив похмелья в чужом пиру, Сухонин возвращался к себе на одиннадцатый этаж, купив предварительно хлеба и молока: он питался теперь почти всегда всухомятку, за исключением тех рабочих дней, когда столовался в кафе. Чувствовал он себя одиноким. Телефон если и звонил, то спрашивали хозяев. Хозяева были радушны, приглашали на дачу, однако он так и не собрался туда за ленью и недосугом. Его по-прежнему занимали люди и их отношение к нему. С ним что-то творилось. На него находили странные состояния. Если он гулял в роще и один, это было экстатическое состояние всепрятия и всепрощения; он бродил допоздна, не уставая, и особенно полюбил деревеньку за рощей, высокие крашенные заборы, зеленый пруд с затхлой водой, над которым подолгу стоял, любуясь закатным солнцем. Кривые переулки, выходящие в поле. Дворы и поленицы, одиноких беспривязных собак, которые полегоньку трусили вдоль заборов; ему нравились случайные прохожие, особенно девушки, которые с любопытством на него косились, нравились беззаботность и беспечная безответственность этих бесцельных прогулок, нравился чистый воздух и белесый след высокого реактивного самолета в небе. Экстаз сменялся внезапным приступом ипохондрии и глубокой тоски, едва он закрывал дверь и оставался в гулкой тишине своей пустой картинной галереи один. Правда, он познакомился с соседкой Эллой, обаятельной особой лет тридцати восьми, жившей со своим сыном, семнадцатилетним румяным подростком; он даже однажды пил с ней и с ее подружкой терпкое вино, но затем, сколько бы ни уговаривал ее зайти, побеседовать, попить чайку, она только приятно улыбалась, показывая жемчужные ровные зубы, и мягко, но настойчиво отклоняла и приглашения, и ухаживания. Это удручало и угнетало: он думал, что почему-то все его сторонятся. Новгородцев так и не нашел ему новую жену, хотя первоначально горячо взялся за это предприятие; между тем Сухонин чувствовал потребность в женском внимании, в женской ласке. Он дошел до того, что стал знакомиться с девушками на улице и в метро, но ни одна из них ему не позволила. Время шло, а он ничего не сделал: ни развелся, не разменял квартиру, не полюбил другую женщину, не сотворил произведение, в котором бы вполне выразился он, Виталий Сухонин. Иногда сердобольной удушливой волной наплывала слезливость; становилось до такой степени жаль себя, что он начинал потихоньку скулить и плакать. Но слезы не облегчали душу. Он принимался звонить всем знакомым, но то ли слишком подобострастничал и заискивал, вымаливая внимания и снисхождения, то ли еще что, но только ему казалось, что его никто не слушает, никто ему не сочувствует; он рассыпался в извинениях, торопливо обрывал разговор и вешал трубку. Нет, решительно – во всем городе не было родственной души.

Впрочем, был в его записной книжке один номер телефона, по которому он мог бы позвонить. Ее звали Лариса. Он познакомился с ней в скверике возле метро «Семеновская». Она под села на скамейку, которую он занимал, статная, в потертых джинсах и в джинсовой же пелеринке, застегнутой на одну пуговицу; у нее были красивые миндалевидные глаза, сочные губы, темные вьющиеся волосы и белые, только что вошедшие в моду клипсы. Юное, стройное создание, она преувеличенно устало опустилась на скамейку, и он понял: можно заговорить. Выяснилось, что она взяла билет в кино; кинотеатр был поблизости, Сухонин купил место рядом, в фойе кинотеатра возле игровых автоматов, где толпились мальчишки, обыграл ее на скачках (она громко и простодушно смеялась, когда ее фигурка спотыкалась на барьерах); потом они уютно сели рядом в самом последнем ряду, он взял ее длинную ладонь в свою, но обнять не пытался – и так они просидели весь фильм – индийский, в двух сериях, про благородного

красавца, который ценой беспримерных тягот и приключений нашел свою мать; фильм смахивал на боевик американского образца, в нем было много потешных драки потасовок, Лариса от души смеялась, а он пожимал ее теплую сочувственную ручку. Потом они расстались, и с тех пор, с мая, он не звонил ей ни домой, ни на работу. Сперва – по тому, по чему утаивают лучшее воспоминание, которое моно обновить в черный день, а потом уже стал бояться, что если условится о встрече, то не узнает – память на лица у него была плохая. Так и осталась эта встреча мимолетной, случайной, и Лариса жила в его памяти Прекрасной Незнакомкой.

Работу свою он посещал аккуратно. По его звонкам там уже знали, что он собирается разводиться, и жалели: «Такой скромный человек». В технической редакции работали две бойкие матери-одиночки, Маргарита и Елена («одноночки», съязвила Елена); с ними Сухонин часто ссорился – не было согласия в том, кто должен заправлять в современной семье. Сухонин утверждал, что эмансипация не пошла на пользу женщине, что, работая наравне с мужчинами, женщины лишаются исконных своих качеств. Нормальнее было бы, если бы мужчине больше платили, чтобы он мог содержать семью, а женщина целиком занялась бы бытовыми проблемами и воспитанием детей. «В Австралии замужние женщины не работают, и, однако, ничего – не жалуются, и бракоразводных процессов меньше», – говорил он. У Елены муж был кандидат биологических наук, у Маргариты – пьяница и бездельник; обе были активные задиристые хохотушки, жаловались на безденежье. «Вы же, мужчины, боролись нашу эмансипацию, вы и плоды пожинаете!» – со смехом отвечали они на его филиппики.

По мере того как расцветала весна и припекало солнышко, Сухонин размягчался, хотелось уехать куда-нибудь, отдохнуть, однако отпуск полагался только осенью. А между тем ему изрядно надоело выискивать ошибки в гранках, видеть ежедневно за столом напротив старушку-корректоршу по фамилии Псковская, править этот бездушный наукообразный стиль рефератов по архитектуре и гражданскому строительству, когда дополнение громоздится на дополнение.. Все эти селитебные зоны, квадратные метры, опалубки, ригели, дизайны, Кругиусы и Л. Мисс Ван дер Роэ, районные планировки и инженерные коммуникации, системы воздухопроводов, ландшафтная архитектура, структура расселения, облицовки по фасаду, все эти мудреные термины, таблицы, формулы и технико-экономические показатели казались ему темным лесом. Что проку в этих брошюрах, отпечатанных на ротапринте, заглядывает ли в них хоть кто-нибудь, и неужели его назначение в том, чтобы разбирать весь этот вздор. Он нервничал и терял прилежание. Технические редакторы сплетничали о художественных, художественные – о корректорах и технических, и все вместе – о начальстве; весь маленький коллектив был оплетен интригами. А весна распускалась вовсю и манила путешествовать. Сухонин чувствовал себя очень утомленным. Спал он плохо, пробуждался среди ночи с забившимся сердцем и долго потом не мог заснуть – лежал и слушал чуждую тишину.

Духовный вакуум окружал его. Гордость воспрещала ему примириться с Мариной, а никого, кто бы стал ему ближе ее и Инессы, он не нашел. Он много гулял в окрестностях своего района, по берегам неизвестной речки, но городская природа, изрытая котлованами под будущие дома, располованная шоссейными дорогами, наводненная людьми, не приносила мира и облегчения душе. В нем зрела мысль уехать домой, в деревню к родителям, забиться там, утешиться, а может быть, даже остаться навсегда. В самом деле, какой из него горожанин? Городская жизнь угнетает его; сельское раздолье и вольный ветер – вот по чему он истосковался.

Как-то раз, когда он сидел в ванной и намыливался, зазвонил телефон и звонил так настойчиво, что, наспех сполоснув лицо, он вынужден был выскочить в коридор и снять трубку.

– Дядя Саша, почему ты так долго не отвечал? – капризно и без приветствия спросил молодой женский голос. – Я ведь чувствую, что ты дома.

– Вы куда звоните? – надменно спросил Сухонин, оторванный этим звонком от любимейшего взбадривающего занятия – мыться; ступням было холодно, по коридору от ванной тянулась цепочка мокрых следов.

– Как, разве это не квартира Чувакиных? – изумилась девушка.

– Да, но они на даче.

– А кто это говорит?

– Квартирант.

– Я послала ему телеграмму. Почему он меня не встретил?

– Никакой телеграммы сюда не приносили. И вообще, что вам нужно – говорите: я оставлю им записку. Они позвонят – я передам.

– Почему вы так грубо со мной разговариваете? – девушка сочла нужным обидеться на неприязненный тон. – Что за наглость! Вы забрались в чужой дом и...

– Нет, это вы грубо со мной разговариваете! Никуда я не забирался – заплатил свои законные деньги и снял законное жилье, – взъерепенился и Сухонин. – А хозяева на даче. Вам все ясно?

– И что – и не заглядывают?

– Редко, – добродушно буркнул Сухонин, уловив легкую растерянность в голосе собеседницы.

– Что же мне делать? Я приехала из Мурома, проездом в Киев, звоню с вокзала... хотела у них переночевать...

– Не знаю. Все комнаты заперты. Кроме одной. Но в ней сплю я.

– А это... потесниться нельзя?... – с мольбой спросила девушка.

– Слушайте, не мелите вздор! – В душе Сухонина подымалась ярость, темное чувство голого продрогшего человека.

– А что я такого сказала?

– Вы вытащили меня из ванны и целый час вешаете мне лапшу на уши.

– А! Так вы... это самое... голый? – Девушка коротко и счастливо рассмеялась. – Извините, пожалуйста, я не знала. Вы, это, оденьтесь, потому что разговор будет долгий. А я подожду.

Сухонин на какое-то время лишился дара речи.

– Послушайте, – начал он терпеливо, с холодным бешенством, тоном, каким объясняют задачу тупому ребенку. – Разве я не все вам сказал? Я сказал, во-первых, что хозяев нет и не будет до сентября; во-вторых, я здесь один и сейчас лягу спать; в-третьих...

– Ну, не ночевать же мне на улице...

– Ну, хорошо – приезжайте! – неожиданно для себя самого выпалил Сухонин.

– Вас как зовут?

– Виталий.

– А меня Надя... Только вы, это, не уходите никуда, а то у меня чемодан, и вообще...

– Нет, я вас с нетерпением жду, Надя. С нетерпением. Прямо жажду вас увидеть и, это, расцеловать, – саркастически сказал Сухонин.

Надя хихикнула и повесила трубку. Сухонин постоял над телефоном с каким-то смутным чувством, с предвкушением грядущих новых мытарств: он хотел покоя – но его нарушили, хотел твердо противостоять женщинам – но его уговорили вступить в новую игру с ними. Он предчувствовал, что эта Надя его нокаутирует, и все же надеялся, у нее плывет ли новая жена сама прямо в руки. Впрочем, жениться ему не очень хотелось, а вот утвердить свое мужское достоинство, пожалуй, что да. И было похоже на то, что после «матерей», которых ему подсовывал Андрей Петрович, началась примерка к ровесницам, которых поставлял Новгородцев, и даже к «дочкам». Как слепой котенок, Сухонин тыкался во все тупики лабиринта и час от часу все ниже падал духом.

Без охоты domывшись, он надел заношенную желтую рубашку, закурил и, подойдя вплотную, пытливо уставился в лицо мадонны, словно доискиваясь от нее ответа; младенец на ее руках лежал пухлый и очень самодовольный.

Надя оказалась не столь уж юной, как обманчиво свидетельствовал ее голос, – лет двадцати с лишним. Худенькая, с челочкой и простецким лицом (такое в толпе не бросается в глаза), она страшно смутилась, когда Сухонин открыл дверь и, ни слова не говоря, нагнулся взять чемодан. Но это только поначалу. Едва переступив порог, она устремилась в комнату, села на диван, придвинула чемодан поближе и, казалось, решила сидеть насмерть; это было именно вторжение, оккупация, завоевание территории противника.

Сухонин закурил новую сигарету. Он волновался. Ноги у Нади были красивые, стройные, но, как бы почувствовав, что имеет дело с сексуальным маньяком, она одернула юбку и, сколь смогла, натянула на колени.

– Вы... это... у вас поесть ничего не найдется? – спросила она, вскидывая на него маленькие ясные глазки.

– Для неожиданных гостей не держим, – не любезно ответил Сухонин. – Впрочем, есть сухари, панировочные, с маком, можете погрызть.

– Ой, нет, что вы, спасибо. От сухарей зубы крошатся.

Сухонин ощутил разочарование и грусть: провинциальная простушка. То, как быстро она приехала, и то, как навязывалась, объяснялось не желанием познакомиться, полюбить, стать его женой, а чем-то иным – соображениями ночлега, глупой неопытностью дурочки.

– А вы, это, не ходите в магазин – чего-нибудь поесть не купите?

– А вы, это, обратно меня впустите? – передразнил Сухонин. – Молоко и хлеб вас устроит?

– Ага, устроит. Меня все устроит.

Денег Сухонин не спросил, хотя в кошельке было негусто. В нем, пока шел в магазин и возвращался, проклюнулось желание как-нибудь попытаться уломать Надю или хотя бы расшевелить, найти в ней ответный отклик, интерес; именно влечения, интереса к себе других людей ему так остро не хватало все эти годы: его лишь унижали, мордовали, третировали, его, наконец, изгнала, вынудила уйти из дому собственная жена. Одному Господу было известно, как горько, одиноко, тяжело жилось ему все эти годы. Поэтому к Наде с хлебом и молоком он вернулся с упованием утопающего, который хватается за соломинку.

– Держите, – ласково и простецки сказал он, протягивая кружку молока и хлеб и усаживаясь рядом. Надя отодвинулась, а получив молоко, и вовсе пересела на стул.

– Вы что, боитесь меня?

– Вы странный какой-то... Так смотрите на меня...

– Ну как, как я на вас смотрю? – с раздражением произнес Сухонин. – Нормально я на вас смотрю. Чего на вас смотреть-то? Эка невидаль! Я вот думаю, где мне спать сегодня...

– А вы, это... у вас друзья есть? Вы им позвоните...

– Друзья-то есть, но... Долго объяснять, да и не поймете вы ни черта! Но вот что я вам скажу, Надя, – Сухонина обуяла возвышенная и горькая обида. – Не смейте больше так делать! Я не обезьяна в клетке и не шут, не папуас, чтобы приезжать разглядывать меня. Вы врываетесь к холостому мужику, зная, что ему некуда деться, но что он уйдет, лишь бы вам сладко спалось. Учтите: когда-нибудь с вами поступят точно так же, и вы меня поймете. Вам лишь бы позабавиться, вы по голосу почуяли, что я мягонький...

– Что вы такое говорите?

– Что, разве нет? А если не позабавиться, если помочь приехали – так помогайте же! Что, выходит, я прав?! Вот то-то же, Надя из Мурома. Билет на Киев купили? Поездом?

– Да.

– Когда отходит?

– В десять утра.

– Так вот: я приду в восемь. Чтобы в восемь двадцать духу вашего здесь не было! Вам все ясно?

– Да, да, конечно. Извините, что так получилось...

– Всё! Вот ключ. Утром мне откроете. Спокойной ночи.

Однажды Сухонину позвонила некая родственница Чувакиных, назвалась Нелли. Он оставил записку на случай, если хозяйка появится, а сам ходил два дня, повторяя это имя: Нелли, Нелли. И только на третий день понял, кого оно ему напоминает.

Еще когда он учился в институте, однажды на Новый год к нему приехала Марина, румяная, в длинном красном платье, очаровала всех его сокурсников, а потом, когда праздник был в разгаре, в дверях комнаты появилась Нелли Истомина, щуплая, остроликая, влюбленная, неся блюдо, наполненное домашними пирожными. «Как, разве к тебе приехала жена?» – изумилась она. Что Нелли влюблена, Сухонин знал; она простодушно признавалась, что любит высоких мужчин, следовательно, на ее любовь мог рассчитывать каждый высокорослый. Но он, как и все, не воспринимал странную, чудаковатую Нелли всерьез. Она была одновременно жеманница и синий чулок. Закончив институт, осталась в аспирантуре – разрабатывала проблематику чеховских пьес, утверждала, что все пьесы Чехова – уморительные комедии (в этом заключался ее новый подход), только никто, кроме нее, не видит и не понимает этого. Так ее и прозвали – Чеховедка. У нее была особенная черта – попадать впросак. Ей-богу, она могла прийти, в карнавальной новогодней чехарде все было возможно, но ей все же не следовало так горестно и разочарованно изумляться, что к нему приехала жена. Пирожные пошли под белое сухое вино. Нелли ходила следом за ним, как на привязи, так что Марина вспылила и, отозвав его в сторону, прошипела: «Это что, твоя любовница? Отвечай!» Ревность жены была неприятна, унижала, но и очернять Нелли не хотелось; и он сказал, как знал: не любовница, но общие интересы есть. «Ну, я тебе устрою!» – пригрозила Марина и остаток карнавала и впрямь обнималась, с кем придется. Нелли, как болтали про нее, была сексуально озабоченная дева, которая липла ко всем мужчинам, да и в науку-то ударилась по этой же причине; так, во всяком случае, про нее говорили злые языки.

И вот сейчас одинокий Сухонин вспомнил о ней и подумал, что это, должно быть, перст судьбы. Он уже отчуждался от своих действий: его собственная записка казалась теперь написанной кем-то другим, кто заинтересован в его спасении от злой супруги. В сущности, они с Нелли два сапога – пара и поймут друг друга. Правда, про Нелли говорили, что после института она чуть ли не обручилась с Сергеем Кучеренко, институтским товарищем Сухонина, совершила с ним вояж в Сальские степи, откуда Кучеренко был родом, но там между ними что-то не заладилось, и она приехала одна...

Сухонин порылся в записной книжке и без труда нашел ее номер телефона. Он руководился скорее инстинктом самосохранения, чем трезвым чувством. Нелли не сразу узнала его, а узнав, очень обрадовалась. Он, как доброму другу, пожаловался ей на свои семейные неурядицы. Договорились встретиться в Сокольническом парке. Нелли по-прежнему училась в аспирантуре и прирабатывала, разнося почту. В жизни Сухонина забрезжила надежда. Не то, чтобы Нелли годилась в качестве новой жены, но она была по крайней мере образованна, могла жить одними с ним интересами. Пока жизнь длится, нужно искать выходы из тупиковых ситуаций. Гренадеров прав: мир многовариантен. Отчего он так слепо привязан к семье, будто у него есть с нею духовное родство, которое ценнее всего на свете. Что он видел в этом супружестве, кроме унижительных сцен оттого, что соседи живут обеспеченнее? Надо действовать. Покой и постоянные размышления разлагают его.

Сухонин не ощущал к Нелли никакой симпатии, даже духовной, но ему хотелось с ее помощью как-нибудь выкарабкаться из той безвыходной ямы, в которой он сидел теперь, – без семьи, без друзей, без сил.

Восьмого мая в парке играла музыка, встречались ветераны войны. Нелли пришла наряженная, в желтом платье цыплячьего цвета – и от того еще более неказистая; гадкий утенок, да и только.

– Прости, что задержалась, – сказала она, подтанцовывая к скамейке, воздушная, востроносая, с мелкими скупыми чертами лица. – Сегодня было много почты. Ты давно ждешь?

– Недавно, – ответил он. – Куда мы пойдем?

– Погуляем. Смотри, сколько людей сегодня.

Нелли нравилось, что она приглашена на свидание, что рядом видный мужчина, и она не скрывала этого, – светила. Сухонин смотрел на ее ребяческую радость по-отечески и вел себя степенно.

– У меня, с тех пор как я на почте, на ногах крылышки, как у Гермеса, – смеясь, сказала она. – Ты только успевай.

Они колесили по парковым дорожкам, Нелли говорила, что ведет замкнутую жизнь, ни с кем не встречается, работает над диссертацией по Чехову. Сухонин поддержал разговор о Чехове, но пожалел об этом: Нелли оседлала любимого конька.

– Ты представь себе, никто не верит, что «Три сестры» – комедия, но ведь сам Чехов писал, что комедия, и сердился, когда думали иначе.

Нелли покорно следовала за Сухониным, а он выбирал самые глухие тропки и, искоса поглядывая на нее, худенькую, как заморыш, сомневался, сумеет ли поцеловать: желания не было, а актер он был плохой. Когда он сказал, что жена ревновала его к ней еще с той новогодней вечеринки, Нелли самолюбиво рассмеялась. Смеялась она дробно и тонко, как курица. Наконец Сухонин присел на скамейку под березой, поднял прутик с земли и, когда Нелли села рядом, легко, словно бабочка, он. Превозмогая себя, обнял ее за острые плечи и прижал. Удивляло, как втихомолку и покорно она повиновалась, с какой выжидательной готовностью ждала, что он еще предпримет. Хоть бы какую-нибудь шутку обронила. Ничто не всколыхну-

лось в душе, когда он скромно поцеловал ее в бледную щеку. Нелли покорно придвинулась, уместившись под мышкой, как ребенок. Не выдержав роли степенного самоуверенного соблазнителя, Сухонин надолго замолчал, а когда в нем проснулось обычное для всех, кто знал Нелли, желание подтрунить над нею, завел разговор о Кучеренко – справлялся, что у нее с ним произошло. Нелли отнекивалась. Ничего не произошло, просто он увез ее в эти проклятые Сальские степи знакомить со своими родителями, а сам по целым дням шатался где-то и на нее ноль внимания. Там, в этих степях, ничего замечательного не было, кроме песку и ветра. Она обиделась таким обхождением и уехала. Вот и всё.

Сухонин подсмеивался: так-таки и всё?

– Всё. – Нелли таращила невинные глаза и старушечьим жестом клялась, что все сказанное – истинная правда. – Я же не виновата, что он так и не сделал меня женщиной.

«Детали можно было бы и не уточнять, – подумал Сухонин. – Уж если он не сделал, я тем более не гожусь для этой роли». Его удивила ее непосредственность, граничащая с цинизмом. В их свидании, похоже, не было ничего любовного – головной расчет с обеих сторон. Ей хочется расстаться с девственностью, но он-то здесь при чем. А как она невзрачна, бог мой!

– Пойдем домой, становится прохладно, – с усталым вздохом предложил он.

А я бы еще погуляла: я так редко выхожу из дому, – беспечно сказала она и потянулась. – С тобой тепло.

– Спасибо, – буркнул он. – Я теплокровный.

Они расстались. На обратном пути он встретил какого-то человека в черной сутане, похожего на монастырского ключника; человек этот опять напомнил ему о Карташове: про Карташова люди, близко знавшие его, говорили, что он прибил к братии одного монастыря и к мирской жизни не вернулся. На Карташова, исповедовавшего мистические идеи отцов православной церкви начала века и корпевшего в институтской библиотеке над сочинениями Соловьева, Бердяева, Булгакова и Флоренского, это было похоже. Встреча дала повод Сухонину лишний раз подумать о тщете жизни и о своем собственном назначении. С любовного свидания он шел, думая, а не податься ли и ему в монастырь. Карташов как-то раз возил его в Троице-Сергиевскую лавру, и Сухонину там не понравилось. Он видел, как Карташов чинно здоровается со священниками и служками, а те ему чинно отвечают. Сухонин купил три рублевых свечи и поставил их перед Троицей, когда служба уже заканчивалась, – перед миропомазанием. Он поставил свечи перед Троицей потому, что уже в то время много размышлял о себе, о жене и ребенке, хотя их семейство представляло отнюдь не евангелическую Троицу. Из трех свечей две сразу же покривились, и сгорбленная старуха в глухом черном платке бесцеремонно вынула и задула их, оставив гореть только одну; тогда эта бесцеремонность взбесила его, стало жаль трешника и разрушенного молитвенного настроения, но потом он подумал, что в этом есть своя символическая правда: искривившиеся свечи – это он и Марина, грешники, а прямая свеча – их невинное дитя. Тем не менее, как ни уговаривал его впоследствии Карташов, в церковь он больше не ходил – чувствовал себя лишним там, среди сверкающего золота и ладанного дыма, среди торжественных песнопений и коленопреклоненных старух. У него не поднималась рука креститься, и он вышел из церкви грустный, нераскаявшийся и с непокрытой головой. Вокруг лавры бродили зеваки экскурсанты, ели мороженое и тыкали пальцами в позлащенные

купола, судачили о средневековой архитектуре Руси – с ними Сухонину стало легче. Он уехал один, оставив Карташова на молебствии.

Нет, последовать примеру Карташова он не мог – не имел права, нужно было решать свои неотложные дела, налаживать жизнь по-новому. Карташов мог бы стать хорошим филологом, если бы захотел, но он избрал другой путь; что ж, очевидно, он не мог иначе. Это ничего, что Сухонин ни в чем не проявил себя до тридцати лет и работает простым корректором. Жизнь идет, и в ней еще есть простор для свободного выбора. Его жизнь будет отмечена высоким служением людям. Он вдруг вспомнил одну католическую песенку, в которой были такие слова: «Путь наш лежит мимо дальних миров: там, впереди, наш Христос!» – и рассмеялся, а потом задумался: да действительно ли Он в дальних мирах, а не в нашем? Похоже, что Он всегда впереди – впереди любой человеческой жизни. Ведь написано же у поэта: «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Песню пел детский хор, ангельские голоса детей звучали сладко и чисто.

За этим свиданием с Нелли последовали и другие, но Сухонин был бесчувствен, как чурбан; ему даже не казались сколько-нибудь занимательными эти встречи, исключая разве только те незначительные факты и наблюдения, которые он мог перевести в психоаналитический план. Его болезнь развивалась так, что он с каждым днем все чаще обобщал приметы и устрашающие его знамения и соотносил со своей личностью. Однажды он был свидетелем дорожной аварии – разбился мотоциклист; мотоциклист лежал в крови на асфальте и пробовал подняться. Подъехала автомашина ГАИ и скорая помощь, собрались зеваки. Сухонин заметил стаю сизых и белых голубей, описывавших широкие круги как раз над местом происшествия. Из этого случайного совпадения он вывел, что отлетела душа несчастного мотоциклиста, и была она наполовину белой, наполовину черной. Наблюдать, что произошло дальше на шоссе, не стал, направился домой – вид смерти был ему отвратителен. Он теперь часто думал о смерти и готовился к ней, хотя ему едва исполнилось тридцать, и с организмом все было в порядке; он, однако, вопреки телесному здравью верил, что скоро умрет. Не разрешив, не распутав и не разрубив гордиев узел своих противоречий, он теперь просто дал, когда же наступит смерть, к которой его подталкивают здоровые самоуверенные люди, ближние и дальние. В последнем письме к матери он в сердцах написал: «Раз ты хочешь моей смерти, зачем ты меня родила, – уж лучше бы задушила во чреве». Вряд ли он понимал, что такое заявление насмерть перепугает мать, вряд ли сознавал, что она, как и любая мать, желала ему только счастья и здоровья. Мать поплакала и решила, что с ее Виталенькой творится что-то неладное, а именно: «что-то с головой». Она написала Марине, требуя объяснений, клялась, что ни в чем не виновата (не она их сватала, сами сошлись), что ей самой приходилось одной воспитывать обоих детей, «а отцу – что, ему лишь бы напиться». Марина на письмо не ответила – сердилась. Сухонин оборонялся от навязчивых состояний, обвиняя в своих неудачах, прежде всего, близких. Матери – и в этом содержалась доля истины, – он написал, что он неврастеник и неудачник потому, что с детства наглядился на ее с отцом ежедневные ссоры, а случалось, и драки. «Ты никогда не была женщиной, – писал он. – Вы всю жизнь дрались за первенство в семье, а я не слышал от вас ни единого ласкового слова. Не мудрено ли, что теперь вы делите одну курицу на двоих, потому что из-за вашей вражды пострадали не только мы с сестрой, но даже хозяйство. Подумай, не вы ли с отцом виноваты в том, что сестра развелась уже с третьим мужем, а я бегаю от жены и скитаюсь? С кого мне было брать пример?»

Такой вот жестокий вопрос.

В запальчивости и ожесточении он воспринимал теперь многое. Даже при обычном объявлении в метро: «Уважаемые товарищи, у нас принято уступать места женщинам и людям старшего возраста», он приходил в ярость; ему казалось, что это напоминание касается лично его, который непочтителен к родителям и груб с женой, казалось, что машинисту, который ведет поезд, известна вся его подноготная. «Но я им все равно не уступлю, – думал он в бешенстве, когда в глаза лезла повсеместно развешенная киноафиша „Укрощение строптивого“. – Врете, меня не так-то просто погубить».

Однажды при переходе улицы на красный свет его задержал милиционер. Платить штраф было нечем, и он, ерничая, чтобы скрыть панический страх, согласился пройти в отделение. Там его тотчас отпустили, записав рабочий адрес, но, тем не менее, он, сообразуясь с новой мистической логикой, решил, что за ним охотятся, его травят. Подобное наблюдалось время от времени и у Веры Ивановны: в деревне, собирая ягоды в палисаде, она кричала, что к ней повадились воры, что они вытоптали всю клубнику, но что она знает их, этих воров и бандитов: они специально приезжают из Логатова разбойничать, они неуловимы и даже логатовская милиция их побаивается; они ходят в наушниках и с магнитофонами, поют срамные песни и мешают спать. Если бы он сопоставил свое поведение и Веры Ивановны, он, пожалуй, отправился бы по доброй воле к психиатру; но к разумным умозаключениям он был уже почти не способен.

Однако на других производил впечатление здравомыслящего человека – вероятно, потому, что помалкивал о своих наблюдениях, о своем новом опыте.

Если беспокойство и тоска не особенно донимали, он читал – и читал, как на беду, Достоевского. Истерические вероисповедания его героев воспринимал чрезвычайно ярко, как свои собственные; он даже конспектировал отдельные сцены, тщательно изучал комментаторские сноски, набрасывал собственные заметки о прочитанном. Но усидчивости и прилежания поубавилось – опять подкатывала тоска, растерянность, внутренняя смута, и он уходил бродить. Он шел, не разбирая дороги, мимо спящих горожан, мимо магазинов и ателье, ориентируясь на смутный силуэт Останкинской башни, неподалеку от которой жил Новгородцев; впрочем, к нему он теперь почти не заходил и не звонил. Город был хорошо, и людей на улицах было много. Странно, что, сколько бы ни бродил, он не уставал физически, не терял мыслительной способности. Думал же и мечтал он исключительно о себе. По крупницам собирал он новый опыт, не замечая, что скатывается к тому формальному мышлению, которое свойственно сумасшедшим и которое всему случайному придает значение особого, свыше данного, потому что сумасшедший все внешние явления соотносит с собой и не способен истолковать их как объективные, от него не зависящие. Белая болонка с красным бантом на шее означала жертвенную собачку и была послана, чтобы напомнить ему о его собственной участи закланного агнца. Красное символизировала опасность, белое – чистоту и спасение, зеленое – надежду, желтое – предательство. Хромцы воплощали черта; Сухонин не шутя высматривал, не торчит ли у них из-под фалд жесткий хвостик. Кто он сам, грешник или святой, он так и не определил: было много доводов и за, и против... На той стороне вечерней улицы, по которой он шел, внезапно гасли фонари – он воспринимал это как зловещее знамение. Воробьев он воспринимал как малых сих, а на ворон смотрел весьма неодобрительно. Если чудесным образом, едва он вступал в фойе, подъезжал и услужливо распахивал свои двери лифт, он трактовал это как следствие невидимой эманации, флюидной энергии, исходящей от него; да, это так: ему повинуются даже неодушевленные предметы. Однажды, выйдя на площадку покурить, он увидел в окне два солнца и заключил, что это особенное, ему одному явленное видение; позднее. Правда, обнаружился оптический обман: одна оконная створка была приоткрыта, и солнечный диск

дважды преломлялся сквозь стекла, вот и все. Но это тривиальное объяснение его не устраивало. Он неутомимо искал и находил приметы, свидетельствовавшие либо о его избранности, либо о его греховности, – середины не было.

До начала июня он исправно отбывал службу и встречался с Нелли. Она являлась всякий раз в новом платье. У нее была острая девичья грудь и невыразительное лицо, по которому ей давали от шестнадцати до сорока. На самом деле ей исполнилось тридцать четыре года. Как-то раз она позвонила ему из пансионата «Клязьменское водохранилище» и просила приехать. На выходные Сухонин отправился к ней.

Он шел по асфальтовым дорожкам посреди мягкой зелени, в которой утопали невесомые коттеджи гостиничного типа. Нелли очень ему обрадовалась, повисла на шее, обвив ее худыми, тонкими руками. В номере жила еще одна девушка, весьма миленькая, поэтому столь демонстративный прием, установивший на нем личное клеймо принадлежности, ему не понравился: в самом деле, могла бы и не афишировать их бестолковую связь. День был солнечный, теплый, с медвяным ветерком. Они взяли лодку на станции и поехали кататься. Воду слегка рябило; от неосторожных гребков брызги летели в лодку, Нелли взвизгивала и смеялась. Сухонин, раздевшись до пояса, греб с удовольствием; тело обдувало ветром; плечи и спину припекало солнцем. По левому берегу росли развесистые ивы. Вода влажно терлась о борт, серебрясь, стекала с весельных лопастей. С каждым гребком берега удалялись, лодка выплывала на вольный простор. Утомившись грести, Сухонин завернул в тихий, укромный залив, осененный ивами, и направил лодку к берегу; вода здесь была чистая и просматривалась до дна. Сухонин поалела, что не захватил удочку. Нелли разделась; выпиравший позвоночник придавал ей сходство со стерлядью; обнаженная, она оказалась еще более щуплой и бледнокожей, чем моно было предполагать. Свернулась калачиком на узенькой кормовой скамье, положила туфли под голову и в этой неудобной позе дремала – жмурилась, загорала; кожа на ее вздернутом носике и впалых щеках была пористая. Сухонин развернул лодку так, чтобы солнце не слепило Нелли глаза, причалил ее к берегу и вышел босиком на траву. Хотелось озорничать и веселиться. На воде играли солнечные блики; в этом заливе было безветренно.

– Тебя кто больше любит, отец или мать? – спросил он, развивая излюбленные мотивы.

– Они меня оба любят, – нарочито сонным голосом ответила Нелли; ее умиротворенное лицо блаженствовало.

– А ты неженка и киска, кис-кис, – дразнился Сухонин, бродя по берегу в штанах, закатанных выше колена. – «Царя Эдипа» читала?

– Господи, какой ты смешной! – пискнула Нелли. – Мы же вместе античную литературу проходили в институте.

– Проходили – галопом по Европам, – сказал Сухонин.

– Я бы так целый день пролежала, – сказала Нелли. – Только жестко.

– Поедем обратно, – предложил Сухонин. – А то завезу тебя в какой-нибудь омут и утоплю. Вспомнишь тогда Сальские степи. Неужели у тебя никогда никого не было, ни-кого-шень-ки?

– Никого. Мне говорили, что с мужчинами надо вести себя нагло, кокетничать, а я не умею, не получается.

– Давай искупаемся?

– Купайся один, вода холодная.

Не долго думая, Сухонин снял брюки и полез в воду. Вода и впрямь была холодная. Ноги утопали в холодном иле, пузырьки воздуха пробегали по бедрам, щекотали; Сухонин охал и покряхтывал, но шел. Когда вода достигла пояса, он окунулся с головой – и тотчас выскочил; но первоначальный испуг и сердечный озноб прошли, и теперь уже на воздухе было прозрачнее, чем в воде. Сухонин наслаждался. Из лодки, мирно прикорнувшей к берегу, торчали узкие Нелины лодыжки. Вокруг была благорастворенная тишина.

Мокрый, возбужденный, счастливый. Сухонин прыгал на одной ноге, целясь другой в штанину. На берегу было холодно. Не мешало бы развести костер, но не оказалось спичек. Сухонин чувствовал пренебрежительное равнодушие к анемичной спутнице. Он сел в лодку и взялся за весла. Нелли, потревоженная, зашевелилась, села.

– Ты уже хочешь ехать? – спросила она удивленно.

– А о чем нам с тобой беседовать? Мы за пять лет институтской жизни друг другу вот так надоели.

– А я думала, ты ко мне испытываешь хорошие чувства, – обиделась Нелли.

– Я сейчас ко всем женщинам испытываю те же чувства, что и к своей жене.

– Зачем же ты тогда приехал?

– Отдохнуть. Устал я. Со мной что-то происходит непонятное. Ну, да тебе это вряд ли будет интересно. – Сухонин был сдержанный человек; он понимал, что все эти приметы и наваждения, которые его одолевают, другому покажутся не более, чем блажью. К тому же, на этот раз он был в ровном расположении духа, взбодрен купанием. Интрига с Нелли ему нравилась – после долгого поста это было какое-никакое разговение, месть жене. Видя, как доверчиво льнет к нему Нелли, он силился возбудить ответное чувство – и не мог; в глазах стояли только короткие редкие пороссячьи реснички Нелли, ее вздернутый носик, ее конопушки, ее худоба. Поиграть с ней, подтрунить – на большее не было охоты. Он мощно греб, чтобы поскорее повидаться с ее миловидной соседкой, а Нелли строила планы:

– Сейчас мы пообедаем, я дам тебе талончик, а потом пойдем гулять в лес, лады?

– Лады. В лес так в лес. – Бросив весла, он приобнял Нелли и поцеловал в бледное костистое плечико; он чувствовал, что нельзя ей отказывать, что она, возможно, еще более одинокий и невезучий человек, чем он.

– А я загорела немножко, – сказала она. – Сегодня хороший день

Они оставили лодку на причале, пообедали и отправились в лес. Ломая внутреннее сопротивление, Сухонин обнимал Нелли; обнявшись, они спускались и поднимались по крутым тропинкам, запинаясь за мощные корни деревьев. У Нелли была низкая талия; Сухонин обнимал ее, притихшую, податливую, за узкие плечи, ее голова умещалась у него под мышкой, как взъерошенный воробей. Сухонин острил, каламбурил, ему становилось тоскливо оттого, что Нелли ждет, когда же он ее поцелует. Губы у нее были узкие, невыразительные, и вся она, выглядывая из-под пазухи, напоминала мышонка.

– Что же мне делать с женой, посоветуй, Чеховедка?

– Почем мне знать. Я ведь не знаю, что между вами произошло. Ты ее любишь?

– Никого я не люблю, – огрызнулся он. – Разве тебя только, да и то немножко.

– Ну, спасибо, утешил. А я думала, ты от меня без ума.

– Без ума-то без ума, да только не от тебя, а от жизни от этой проклятой. Вот такие пироги, Чеховедка.

– Не называй меня так, пожалуйста. Почему-то никто всерьез не принимает моих изысканий. Но если взглядеться, Чехов в самом деле комедиограф, и только, веселый комедиограф.

– Да, в жизни много смешного, – поддакнул Сухонин. – Взять хотя бы нас с тобой... Парочка, баран да ярочка.

Лес становился глуше.

– Мы не заблудимся? – Сухонин остановился под сумрачной елью и привлек Нелли к себе. «Ах ты, боже мой, сейчас надо ее целовать!» Он поцеловал ее в губы, – губ она не разлепляла, – в жиденький пробор на темно-русой головке, погладил; ему стало очень грустно. Нелли молчала. В кронах шумел ветер. «Не люблю ведь я никого, вот в чем вся беда-то. А ведь как был счастлив в первые месяцы с Мариной! Куда-то все исчезло, все чувства. Влюбиться бы в кого, что ли. Нет, не смогу. Неужели она не понимает, что ничего между нами нет? Нет чувства, и все идет прахом. Засиделась в девках, аспирантка...»

Ему захотелось кукарекнуть; кукарекать он не стал, но рассмеялся. Нелли озабоченно на него посмотрела. Он, назидательно погрозив пальцем возле ее носа, пропел:

Что прелесть ее ручек?
Что жар ее перин?
Давай, брат, отрешимся,
Давай, брат, воспарим...

С доверчивой Нелли было по-своему просто. А что некрасива – это пустяк...

Вечером они загорали в частом молодом сосняке, в котором там и сям пестрели расстеленные одеяла и распластанные тела. Нелли сбросила просторный халат и легла рядом с Сухониним. Он провел пальцем по ее позвоночнику и сказал:

– Ой, укололся!

Нелли на грубость не обиделась. Тогда он запустил на ее плечо пробежавшего мимо муравья. Сухонин не мог не подтрунивать, срабатывал устойчивый институтский стереотип.

Выходные пролетели незаметно, упаднические настроения ни разу не посетили Сухонина. Нелли еще неделю оставалась в пансионате, затем тоже вернулась в Москву.

Хотя Нелли и говорила, что любит, когда мужчины управляют ею, ее мысли развивались в более практичном направлении, чем безалаберные и безответственные сухонинские. Недели через две она позвонила и сказала, что ее подруга, артистка Москонцерта, уехала на гастроли, а свою квартиру препоручила ей, так что они могут встретиться там, если, конечно, он хочет.

– Васька Васин на все согласен, – схохмил Сухонин, а про себя подумал, что его тащат в постель, как бодливого телка на скотобойню. – Только я сижу без денег – такой вот тонкий намек на толстые обстоятельства.

Нелли сказала, что обо всем позаботится сама. Сухонин положил трубку и задумался. Боже правый, неужели в обширной столице нельзя найти женщину красивую, одинокую, с умом, с квартирой? Нет, решительно, такая не обнаруживалась. Нелли жила с родителями и не годилась в жены. Согласен, что они культурные люди, принадлежат к артистической среде, да что толку – любви-то нет. А меду тем Истомина-старшая уже узнавала его по голосу, когда он звонил, и называла запросто – Виталий. Следовательно, Нелли придавала встречам куда большее значение. «Я тебя выручу, – как-то проговорила она. – Не отчаивайся. Ты можешь прописаться у нас, даже если мы заключим фиктивный брак, а потом маме и папе дадут квартиру, и ты будешь свободен. Занимайся творчеством, чем хочешь». Это была развернутая программа будущей жизни. Сухонину же все это казалось нереальным. Он и без того запутался, без этих новых осложнений. Исчезла целенаправленная перспектива в его жизни, простая, ясная. «Новая» логика, «новое» знание захватили его. На свидание в квартире гастрольной артистки он согласился скрепя сердце. А впрочем, отчего бы и не попытаться: авось кое-что в его жизни сдвинется в лучшую сторону. Он ощущал опустошительное равнодушие, словно все это происходило не с ним, не его касалось, словно он присутствовал или играл на дурном любительском спектакле.

День выдался дождливым; высотные дома теряли очертания в мглистой туманной поволоче. У Сухонина не было зонта. Он нес зонт Нелли, стараясь закрыть ее, и тяжелую сумку с продуктами: на квартире предполагалось пробыть два-три дня. Нелли плохо знала этот район; дорогу вызвалась показать словоохотливая попутная женщина в очках. Сухонин с мрачной улыбкой думал, что его заманивают, как глупого кролика. Казалось, что эта услужливая болтушка в очках все о нем знает. В последнее время казалось, что и на улице он не в безопасности, что его повсюду сопровождают недруги. К каждому встречному он обращался с немым вопросом в перепуганных психастенических глазах. Шли они втроем мимо длинного мокрого бетонного забора...

Каков же был его ужас, когда они, открыв дверь, увидели двух собак, черную и белую, с голодным повизгиванием бросившихся навстречу.

– Я тебе совсем забыла сказать – этих двух собачек нам придется кормить. Вообще-то их подкармливают соседи, но пока мы здесь, мы сами ими займемся. Не знаю, как их зовут; знаю только, что вот эта черная – мать, а эта белая в крапинку – дочь.

– Отличная пара собак! – иронизировал Сухонин сквозь страх. – Крепость черных мясов просто наводит изумление, щиток – игла!

Квартира была двухкомнатная. Одна из комнат по стенам была завалена книгами, а посреди ее возвышалась широченная софа со множеством подушек и подлокотников. На кухне творилось неведомо что, повсюду в мисках стояли прокисшие собачьи супы. Собаки путались под ногами. Раковина ломилась от грязной посуды, на полу валялись газетные обрывки. Не очень-то ухоженное жилье, сюда, вероятно, месяцами никто не заглядывает. Нелли поставила чайник на плиту и вынула бутылку португальского портвейна. К своему дамскому счастью с высоким мужчиной она стремилась напролом. Сухонин наблюдал за ее приготовлениями встревоженно; сквозь апатию пробивалась злость. Сейчас она напоит его вином, потом чаем, потом полезет в ванну, потом... Сухонина подташнивало от предчувствия этого «потом»; он уже знал, что ничего у него не получится, ему было лишь чуть любопытно, а больше того скучно. Он рылся в книгах, но ценных было мало, – брошюры по социологии, психологии, эстетике. Он обнаружил одну, привлекающую его внимание, под названием «Бермудский треугольник», и сунул ее в портфель, чтобы прочесть дома.

Вино было приятное, сладкое, но с него мутило. Всё развивалось примерно так, как он и предполагал. Нелли принимала ванну, и пока она там плескалась, Сухонин положил кухонный нож посреди застеленной софы. «Следовало бы класть кинжал или меч, – подумал он. – У каких это народов так делалось, когда мужчина хотел сохранить честь женщины? Забыл, совсем забыл, дырявая стала память».

За окном по-прежнему моросило. Собаки лежали, забившись под стол. Вечерело. Исследовав обе комнаты и кухню, Сухонин не знал теперь, чем заняться. Из ванны вышла Нелли, чистенькая, умытая, в мешковатом хлопчатобумажном халатике в синих цветочках.

– Ну что, подруга дней моих суровых? – спросил он риторически, положив тяжелую руку на ее теплое плечо. – Софа расстелена и убрана, скатерть белая залита вином. Поди ложись!

– А ты?

– А что я? Я обнаружил интересную книжку, читаю, а потом тоже лягу.

– У тебя нет совсем никаких чувств ко мне? – спросила Нелли заискивающе.

– Есть. Усталость. Я очень устал, и многое из того, что для других представляет интерес, мне надоело. Иди, иди!.. – Он поцеловал ее в лоб и легонько подтолкнул. – Иди. Я сейчас тоже приду.

Он уединился в комнате, где сидели собаки, и закрыл стеклянную дверь; поставил тихую музыку Джеймса Ласта. Хотелось курить.

– Ну, что мне с этой дурехой делать, подскажите? – спросил он у собак. – Не знаете? Вот и я не знаю. Мне сейчас хоть Джину Лоллобриджиду подавай – один черт...

Собаки понимающе вылупляли карие глаза.

Прошло с полчаса. Наконец он решил войти в комнату, где Нелли ждала его. Однако не успел подойти к ней и присесть, как запертые собаки стали скрестись и скулить.

– По-моему, они не хотят, чтобы мы спали вместе.

Он выпустил собак; они тотчас же юркнули на софу и забрались под одеяло.

– Кыш! Кыш! – Нелли отгоняла их бледной ручкой, которую они норовили лизнуть; вид у нее был жалкий, растерянный. Сухонин рассмеялся:

– Точно, не хотят!

– Да прогони ты их, – бессильно злилась Нелли.

– Куда же я их прогоню? Они, видно, с хозяйкой привыкли спать. Я тебе лучше притчу расскажу. В прошлом году в ноябре я подобрал одну такую же пегую собачонку и принес домой. Собачонка кружилась по комнате, как безумная, оставляя мокрые следы, а жена моя бегала за ней и кричала: «Это бес, бес! Прогони его!» Пришлось прогнать, а милая была собачонка, хоть и грязная. Может, и эти – бесы, а?

– Ты не испытываешь ко мне совсем-совсем никаких чувств? – приниженно спросила Нелли. – Зачем же ты тогда согласился приехать?

– Ты знаешь, мне худо. – Сухонин стал серьезен. – Мне уже давно худо. Не нужно ничего этого, миленькая, никаких таких скоропалительных решений. Ты еще молодая, найдешь человека, который полюбит тебя. Я если и пришел, то совсем не за этим. Я понятно говорю? А нож ты не убирай: между нами должно лежать холодное оружие, примета такая есть. Если хочешь, ночью, когда я засну, можешь меня зарезать. Мне все равно.

Он пинками согнал собак и запер их на кухне; они там визжали и скреблись. Он вернулся, подвинул торшер к изголовью, разделся и лег. Софа была настолько просторная, что они с Нелли не соприкасались телами. Потом он сладостно вытянулся и сразу же заснул.

Сухонин еще мог притворяться равнодушным, разочарованным, но в глубине души очередное поражение переживал болезненно. Кольцо отчуждения сжималось туже. Любой в его положение, уж конечно же, не сплеховал бы. А он заснул, да так сладко! Впрочем, что могло получиться у двух книжников? Они больше не встречались, он не звонил ей, она – ему. Все было ясно без слов, они довели игру до конца. Сухонин почувствовал, что – сублимировано – проиграл (и примерился, и оказался в проигрыше) в отношениях с Нелли роль отца к дочери. Он меланхолично листал записную книжку, но звонить было некому: от жены ушел, с другом расстался, Нелли от него отступилась, а многочисленные знакомые – о чем с ними говорить. Он был в полной изоляции, он утрачивал инициативу, даже в магазин выходил реже. Никому до него не было дела. Просыпаясь по ночам. Плакал, молился, слушал тишину.

В конце июня он три будних дня в глубокой хандре провалялся в постели, а выйдя на работу, вместо того чтобы извиниться за прогулы, наругал начальству. Теперь он часто

гневался и не мог себя укротить. Опутанный со всех сторон обязательствами, неразрешимыми противоречиями, он свирепел. В таком состоянии написал заявление на расчет и уволился без отработки. В тот день, бегая с обходным листом по этажам, чувствовал прилив энергии, бодрость, радость, готовность начать все сначала, освобожденность от оков, но уже на следующий день сник: в конце августа должны были вернуться дачники, следовало подыскивать новую квартиру, а рассчитывать за нее да и за старую было нечем.

И он решил вернуться к жене.

Каждое утро и каждый вечер Марина устраивала скандалы. Он не выносил ее истошного крика, выпученных круглых совиных глаз, мужеподобных жестов и битья тарелок. Хотелось размозжить ей голову, лишь бы она заткнулась. На ночь она заставляла дверь тяжелым креслом, чтобы он не вошел и не прикончил ее. Это становилось невыносимым. Ему с особой отчетливостью стало казаться, что все люди, в особенности жена, хотят его смерти; он впадал то в сокрушительную ярость, то в слезливость. По ночам он читал Откровение Иоанна Богослова.

– Ты сумасшедший, – распалаясь Марина. – Ты же голый ломился к Гренадерову, все говорят. Тебе надо лечиться.

– Это тебе надо лечиться – от жестокости, от бульдозеризма своего. Взгляни на себя: разве ты похожа на женщину? Ты же мужик. У тебя вон усы растут и борода пробивается, до такой степени ты мужик.

Наступил июль. Сухонин бродил по городу целыми днями напролет. Ему повсюду мерещились друзья и враги, эта игра его увлекала; они сопровождали, конвоировали его на эскалаторе, сидели ошуюю и одесную на садовых скамейках, порицали и хвалили. Случайные обрывки разговоров он соотносил с собой. Люди казались ангелами или слугами сатаны – все зависело от того, насколько они ему нравились. На нем скрестились все конфликты мира. Он шел и думал, что если даже он и сумасшедший – что, все люди сходят с ума: повсюду войны, террор, насилие, атомные взрывы. Ждать мессию уже недолго. Опекуны и доброхоты следовали за ним, ходили по пятам, оберегали от врагов. Он не паниковал, но обреченно думал, что злые силы все равно одолеют. Иногда казалось, что мать и отец зовут его вернуться домой; он вспоминал притчу о блудном сыне, и ему становилось горько. Марина настойчиво спроваживала его в Петровку и почти не кормила: не работал, следовательно, не заслуживал. Она представлялась опаснее и настойчивее всех его гонителей.

Но прежде, чем он решился уехать из Москвы в Петровку к родителям, с ним случились два происшествия, которые, религиозно истолкованные, глубоко его напугали и усугубили болезненное состояние.

Однажды он шел, приближаясь к Преображенской площади, как вдруг с ним стало твориться что-то непонятное: он засомневался, туда ли идет, куда надо, к дому ли? Он как бы вступил в некое облако, в котором потерял перспективу движения. Как те летчики, которые, пролетая над Бермудским треугольником (а он успел прочесть украденную книжку), внезапно сбивались с курса, успевали передать на землю, что заблудились, утратили ощущение пространства, а их приборы заклинило, – так и он, в страхе, что направляется не туда, растерялся, объятый ужасом, остановился в нерешительности, спросил у прохожих, где находится Преображенская площадь, но один из них указал вперед, другой – назад, а третий сказал: «Да вы же на ней стоите!» Волосы Сухонина поднялись дыбом, ему стало дурно: он не узнавал

окрестность, хотя столько раз проходил мимо. Не зная, на что решиться, он медленно повернул обратно, надеясь, что если снова увидит те здания, мимо которых только что проходил, то, может быть, вспомнит, где он, и сориентируется. Это действительно удалось; он понемногу успокоился, но пойти вновь через П р е о б р а ж е н с к у ю площадь не дерзнул – вернулся домой круглым путем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.